

сергей
жадан

всё зависит
только от нас

поэзия без границ

poetry without borders



сергей
жадан
всё зависит
только от нас

UDK 821.161.2(477)-1=161.1

Ж15

Sergejs Žadans
Viss ir atkarīgs tikai no mums. Atlasīti dzejoļi
(krievu valodā)

Жадан, Сергей. Всё зависит только от нас:
Избранные стихотворения / Перевод с украинского
Ozolnieki : Literature Without Borders, 2016. – 128 lpp.
– (Поэзия без границ).

Сергей Жадан родился в 1974 году в Луганской области Украины. Живёт в Харькове. Автор 16 книг стихов и 8 книг прозы, книги публицистики, книги переводов из Пауля Целана, 4 альбомов песен (с рок-группой «Собаки в космосе»). Лауреат ряда национальных премий и международной премии «Angelus» (2015) за лучший роман Центральной Европы.

Редактор проекта Дмитрий Кузьмин
Обложка: Олег Пащенко (дизайн и фото)
Логотип «Поэзия без границ»: Андрей Черкасов

© Izdevniecība "Literature Without Borders", 2016

© Сергей Жадан, 2016

© Полина Барскова, Игорь Белов, Станислав Бельский, Мария Галина, Дмитрий Кузьмин, Игорь Сид, Борис Херсонский, Алексей Цветков, Андрей Щетников, 2016 (переводы)

© Олег Пащенко, 2015–2016

© Андрей Черкасов, 2015

ISBN 978-9934-8568-4-6

**ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
НАЧАЛА СТОЛЕТИЯ**

История культуры начала столетия

Ты ответишь ещё сегодня, касаясь тёплых букв,
перебирая их во тьме, путая согласные с гласными,
как машинистка в старой варшавской конторе.
Тяжёлые соты письма
уже тускнеют тем золотом, из которого зарождается язык.
Пиши, только не останавливайся,
пропечатывай эти белые пустоты, протаптывай немую чёрную тропу.
Никто не вернётся из долгих ночных блужданий,
и забытые всеми слизняки будут умирать в мокрой траве.

В белых снегах, как в салфетках, лежит Центральная Европа.
Я всегда верил ленивой цыганской пластичности,
ибо не каждому выпадает этот ломаный грош.
Если бы ты заглянула в их паспорта,
пахнущие горчицей и шафраном,
если бы ты услышала их разбитые аккордеоны,
отдающие кожей и арабскими специями —
они говорят, что когда ты едешь — куда б ты ни ехала, —
ты лишь отдаляешься и никогда не будешь ближе, чем есть;
когда молкнет пение старых граммофонов,
из них вытекает смазочное масло,
словно томат из пробитых жестянок
из-под супа.

Не за этой дверью, не в прожжённых солнцем городах
по утрам разрывается натруженное сердце эпохи.
Время и вправду проходит, но оно проходит так близко, что ты,
приглядевшись, уже различаешь его отяжелевшие волокна
и повторяешь шёпотом услышанные от него фразы,
будто хочешь, чтобы потом, когда-нибудь, узнав твой голос,
можно было сказать —
так становилась эпоха,
так она разворачивалась — тяжело, как бомбовоз,
оставляя погасшие планеты и перегруженные коммутаторы,
разгоняя из плавней диких уток,

которые, разлетаясь, перекрикивают
грузчиков,
бога,
баржи.

Выбирая курс обучения, среди прочих вещей
ты должна была бы узнать —
на самом деле культура начала столетия
уже отпечталась венами на медленной твоей руке,
укоренилась в изломах твоих упругих волос,
перехваченных небрежно на ветру,
развеянных над пальцами,
словно струи тёплой воды над умывальником,
словно глиняные цветные ожерелья над чашками и пепельницами,
словно длинное осеннее небо
над кукурузным полем.

Игорь Сид

Продажные поэты 60-х

Продажные поэты 60-х должны бы радоваться,
что всё закончилось так удачно;
ведь сколько было опасностей,
а гляди-ка — выжили, вернули кредиты,
разве что боевые раны
будут ныть во время циклонов,
словно во время месячных.

Продажные поэты 60-х возят с собой
большие чемоданы из жёлтой искусственной кожи;
останавливаясь в отелях,
они придерживают трубку телефона плечом, словно скрипку,
а на их чемоданах пестреют рекламные наклейки.
Вьетконг, девочка, это и есть наше коллективное бессознательное.
Что тебе до меня? — легко выбросишь мятую визитку.
Одной визой в паспорте больше,
одной меньше.

Когда-нибудь на заснеженном лётном поле
кому-то из них припомнятся все их лекции,
берлинское радио и мосты через Вислу.
«Хорошо, — подумает он, — хорошо,
это были неплохие времена — наши продажные 60-е,
даром что в голове после этого
сплошная педерастия и социал-демократия.
Нас вела за собой любовь,
любовь вырывала нам гланды,
как вырывают трубки из уличных телефонов.
Поэзия пишется горлом,
но это горло безнадёжно простужено».

По всем законам литературы,
по всем условиям подписанных ими контрактов
они в самом деле боролись за свободу,
а свобода, как известно, требует,

чтобы за неё время от времени боролись —
в окопах, лесах
и на страницах независимой печати.

Говоря здесь о поэзии,
помянем всех тех, кто остался
на улочках и пляжах старых добрых 60-х,
всех тех, кто не прошёл до конца курс реабилитации
и над кем до сих пор проплывают тучи,
напоминающие своей структурой американские верлибры;
помянем их, поскольку то, что вы называете временем,
напоминает обычную бойню,
где кишки выпускаются просто потому,
что место этому именно здесь;
и выживают после этого
разве что продажные поэты,
с лёгкими, разорванными
от любви.

Игорь Сид

Уборщицы коридоров

Медленно скребут пол, будто палубу,
старые уборщицы коридоров;
слышишь, о чём-то перешёптываются на лестнице,
проходят боязливо под стеночкой,
длинными крюками вылавливают из воды
водяных крыс и горькие сновидения.

Комнаты кругом переполнены сумерками,
как крейсера углём;
уборщицы коридоров
выскребают чешую острыми ножами,
загоняют цыганские иглы в утреннее солнце;
подходит к концу осень
и небеса такие тёмные, будто кто-то поскидывал в кучу
отрубленные куриные головы
и чёрные розы.

Отмыв всю кровь,
собираются на вокзалах, пьют подогретое вино
и говорят о том,
что рыбы сегодня блуждают в Дунае,
не могут выплыть на мелководье
без ночных фонарей
с кораблей,
без голосов с берега,
без отверстий и туннелей
в чёртовом льду .

Игорь Сид

Младший школьный возраст

Это уже в который раз всё начинается заново,
и я говорю так, будто вижу её впервые, —
всё как всегда, просто сегодня чересчур холодный
ветер в почтовых ящиках,
и в спичечных коробках печально звенят
жёлтые монеты.

Просто приходит тот возраст,
когда начинают сниться одногодки,
словно время возвращается назад, что-то забыв.
Сколько их выжило — этих вечно голодных волчат?
Все их странствия в никуда
начинались, как правило, с центральных улиц.
Смотреть на жизнь сквозь окна автостанций,
умереть в дороге, которая никогда не закончится —
лет десять тому назад ты тоже
так часто пользовалась
чужим шампунем,
что твои волосы иногда теряли
свой собственный запах.

А вот теперь сны обрываются
прямо в твоём теле, как междугородние телефонные разговоры,
и июльские автобусы,
кресла в которых пахнут сандалом и зверобоем,
возвращаются в твой город,
где каждый год ты находишь
заржавелые лезвия в ванной комнате
и уличные автоматы с колой.

Что изменилось? Выросли деревья,
исчезли старые кинотеатры
и молочные магазины.
Лишь дождевая вода всё такая же сладкая,
особенно когда попадает на яблоки.

Тогда они грузнеют
и долго падают в песок,
разбиваясь насмерть
под горячими небесами.

Игорь Сид

Жить значит умереть

Летом, когда нагреваются обручальные кольца и ногти
на пальцах мужчин в привокзальных гостиницах,
и в сумерках дети из новостроек
к сердцам прижимают чёрные футбольные мячи;

в темноте, когда выдыхается в погребах розовое вино,
медленный, словно улитка, поезд на Будапешт,
запылённый и ломкий, проезжает под луной.

Умерев один раз, ты продолжаешь путь
через ночные дворы и замечаешь, как
смерть держит в руках мятные конфеты
и раздаёт их детям на привокзальных пустырях.

Летом, когда выворачивается тёплая подкладка жизни,
когда разбиваются малолитражки цвета твоей губной помады,
из дома выходит старый аптекарь,
лечащий всех каждый день аспирином,
играя со смертью в какую-то неведомую игру;
жизнь не начнётся без тебя — смеются женщины на площади,
жить значит умереть — скажут тебе одинокие курьеры,
переносящие в ранцах сухие небеса.

Умерев один раз, ты отступаешь в тень
и смотришь, как твоё тело беспомощно ищет
тебя самого между стеблей густой травы;
умерев посреди лета,
оборвавшись на бечёвках, натянутых почтальонами,
души умерших, будто цепкий тысячелистник,
пррезают в воздухе свои вертикали.

Попробуй, когда уже будешь знать как,
попробуй, вырви меня из ночного нутра страны,
вырви из невидимых вытяжек в небе,
которыми к нам проходит любовь.

Кто помешает, кто выгонит, девочка,
насекомых и духов из твоего тела?
Под тёплым небом наша с тобой земля
так щемяще пахнет каждое лето луной и бинтами.

... После смерти ступив полшага вбок,
видишь сквозь швы в воздухе,
как тайные киномеханики проецируют
на твоё тело
великое небесное синема,
чтобы на свет его летели
души покойников
и изумрудные тени жуков...

Игорь Сид

Некоммерческое кино

Есть одно фото, я нашёл его у себя
на съёмной квартире, там девочка лет
13-14 в довольно открытом купальном костюме,
на каком-то пляже, дальше виден каменистый берег,
она смело глядит в камеру, будто говорит: «привет,
дурачье, это я», внизу подпись «Бухарест, 86-й», теперь
ей должно быть к тридцатнику, мы с ней плюс-минус ровесники,
если она не сдохла, как водится, в своём Бухаресте от алкоголизма,
он в Бухаресте небось и не лечится, да, в общем-то, и у нас.

Занятно, как вспомнишь сейчас то время — какой же кашей
были забиты наши мозги! Интеллигентские заморочки из 70-х,
телеги про бит и левую профессию, про свободу совести
и новый джаз, который должны реанимировать белые, прочая лажа,
теперь вот прошло пятнадцать лет, и можно собрать лишь
случайные свидетельства великих потрясений, а неведомые тебе
одногодки, разбросанные по материкам, если не умерли от
коммунизма и сифилиса, держат ныне за горло историю
своей страны,
не желая простить её позорную капитуляцию, правильно —
ангелам стоило трижды подумать прежде, чем связываться с такими
шутами гороховыми, сами виноваты, теперь придётся
вытаскивать из депрессии и снабжать молитвенниками, в конце
концов, мы только воспроизводим творящееся на небесах, да и небо
всего лишь система зеркал, расставленных, правда, так, чтобы ничего
невозможно было увидеть.

Всё дело во времени года и погодных условиях — если жить
в старых европейских столицах, набитых свежим
эмигрантским мясом,
то сам для себя решаешь, чем бы заняться, к примеру,
приходишь в маленькие кинотеатры на боковых улочках, подальше
от центра, там крутят настоящее старое кино, там в зале
на старых продавленных креслах сидят несколько пенсионерок
и извращенцев и смотрят на этих вечно молодых девочек,

чи лица запоминались с первых детских просмотров,
потом идёшь домой, возвращаешься в квартиру, где
с каждым годом остаётся всё меньше воздуха, возникает
всё больше демонов, они собираются ночью, когда ты засыпаешь,
у твоей постели, долго рассматривают татуировки на твоих руках,
комментируя наиболее интересные рисунки
цитатами из Святого Августина.

Дмитрий Кузьмин

Детская железная дорога

От уличного дождя сбегая в аудитории,
в марте, когда в городе прибавляется сумасшедших,
что греются в книжных магазинах и бесплатных туалетах,
как тритоны поворачивая на свет коричневые глаза, —
щедрой рукой время зачерпывает из своих водоёмов
и сыплет в твои ладони
горсти моллюсков и улиток,
метеоритов и речных камней.

Когда-то все вокзалы моего города в эту пору
останавливались, словно будильники
с тысячей ослабевших пружин;
спрятавшись под небо,
летевшее с двумя светилами,
будто человек с двумя сердцами,
рыжеволосые девчонки, держа сумерки на кончиках языков,
пели песню, в которой, будто в угле,
было много старого оружия, одежды и истлевших тарантулов;
и с холма, где заканчивался город,
видно было железную дорогу,
которой добирались домой рабочие.

Сколько огня, сколько слёз, сколько угля
выгорело в лёгких, парусах, которые натягивались
в шахтёрском посёлке.
Зачем, скажи, небо собирает все свои лакомства,
товары и светила,
и повернувшись, исчезает за холмом?

За каждый невидимый выдох измученных за ночь мотыльков,
за каждого из сирот, которые каждое утро складывали постель,
словно парашюты,
за каждый из кларнетов в твоём горле, которые не дают тебе
просто дышать,
превращая голос в тень, а джаз в болезнь,

заплачено нашей жизнью.
Держись ко мне ближе. Вынесенный в заголовок,
опыт встанет, как строительные леса,
крепя нестойкие ещё детские лёгкие
проводами и мелом.

И этот снег тоже, будто старое полотно
сложенное в громоздкий комод неба,
не накроет твоей печали. Лишь посмотри —
сквозняки гуляют от границы до границы
и неразорвавшимися бомбами во тьме лежат вокзалы,
и ночные одинокие экспрессы, будто ужи в озёрах,
плавают во тьме, всплёскивая хвостами,
вокруг твоего сердца.

Игорь Сид

Продавец подержанных автомобилей

В 80-м, когда умер Тито,
высоко в салатовом небе Европы
на миг остановились маховики, которые прогревали
руду и серебро в приисках возле наших границ.
Великое время, пора, рождавшая героев;
блуждая теперь чужой страной,
остановись возле баскетбольной площадки,
посмотри, как подростки протыкают железными
прутьями небо, чтобы оно
скорее двигалось.

Проигранная нами однажды борьба
никому ни о чём не говорит;
в ирландских барах мужские руки
касаются клавиш
и поют гимны лёгкой беспризорности.

Каждая клавиша —
другой звук,
натруженные пальцы настраивают инструмент,
чтобы что-то прибавить ещё
о нашей любви
и муке.

Время, когда на задымлённых кухнях закипает жир
и повара́ рубят ножами покорную зелень,
время, когда во тьме дворов исчезают женские платья
цвёта сердец и татарского соуса;
Господь дал нам наши границы,
нашу злость и отвагу, наш кокаин,
я и теперь волнуюсь каждый раз,
приходя к причастию или переводя
бабки из одного банка
в другой.

Потому доиграй до конца весёлую мелодию
о том, как однажды
мы встретились под звёздным небом
и с тех пор с тревогой наблюдаем,
как в нашем небе остаётся
всё меньше и меньше
звёзд.

Игорь Сид

УССР



история начинается

на одной из улиц старого центра
знаешь эти постройки за синагогой
санитарные условия и всякое прочее
разбитая мебель кресла занавески дома́ культуры
вся эта рухлядь которая называлась советским бытом

история начинается примерно с сороковых годов —
послевоенные новостройки
развитие общества «динамо»
и вообще развитие
поверишь ли это всё сохранилось
во всяком случае время ещё не всё разрушило

поэтому если относиться к этой истории по-настоящему серьёзно
а именно так я надеюсь ты и хочешь к ней относиться
начни прямо оттуда
встань со своей раскладушки
и расскажи тому кто захочет тебя выслушать

я знаю когда только начинается утро
в окне висит архангел
и стучит на портативной трофейной машинке
штольня времени заполняется нефтью любви —
чёрным папоротником шахтёрских лабиринтов

с каждым годом быстрее заканчиваются твои каникулы
какие двигатели нужны для твоей машины?
какие двери ты выберешь?
какая будет сегодня погода?
каким ты выйдешь из моей молитвы, господи?

Станислав Бельский



Тяжёлым каменным углем в лесных корнях,
железными лезвиями сквозь песок и уголь
монтируется — звено к звену,
срастаясь сердцевинами,
обжигается горячая сердцевина года.

На самом дне, как раз между июнем и июлем,
в тихих городских переулках с их бакалейей,
увидев, как в темноте замирают липы и телефонные будки,
ты пройдёшь сквозь краткое межсезонье —
оно, заколебавшись на миг, может вынести
в любую сторону;
из этой — самой глубокой — ложбины
всегда две дороги, и, легко раскачавшись,
ты можешь двинуться против течения, пробиваясь к зиме, к истокам,
когда всё не казалось таким устоявшимся,
когда всё ещё можно было изменить.

Кто-то устилает пахучими водорослями
каналы твоего забвения,
дымом, камнем и водорослями,
и ты до беспамятства
ловишь в себе
эти дымы.

Середина года — река в низине, как раз перед дельтой,
когда чужой, возбуждающий и солёный
запах иной воды поднимается вверх по руслу,
заполняя собою поры чужой влаги;
так и ты — можешь, если захочешь,
ощутить ледяные потоки из своего будущего,
предвидеть, что́ там — за ближайшими холмами,
заглянуть туда, где уже нет никакой навигации
и от тишины на яблоках открываются раны,
и где всё ещё ничего не начинается
без тебя.

Станислав Бельский

Пушеры

Иисус думает о тебе, когда ты думаешь о наркотиках.
Весёлый и вечно напуганный чем-то пушер, который
покупает себе молоко, живёт в нашем квартале, выбегает
с утра за ворота поговорить с кем-то по телефону,
долго обнюхивая трубку, в которой так много
всего спрятано чьими-то бережными руками,

чтобы мы с тобой ничего не знали об этих фарфоровых
масках смерти, о грубых рыбацких куртках, о золотых
напёрстках в карманах уличных святых,

чтобы мы только изредка, во сне, когда спим вместе,
слышали шёпот бандитских душ, с которыми говорит
из уличного таксофона наш с тобою
знакомый пушер.

Я знаю, как это ему удаётся, — у него тёплое дыхание,
горячее-горячее дыхание, оно пахнет
подорожником и кофейным автоматом, оно немного
горчит и отдаёт жжёной листвой,

он дышит на мороженую рыбу в холодильниках,
когда заходит в бары у дождливой трассы,
и от его тёплого дыхания мороженая рыба снова
начинает бороться и выпрыгивает в мокрую траву,
вкладывая в раны размокшие листья подорожника.

Кто-то думает о тебе,
когда ты думаешь о своём выживании,
сначала ты работаешь на эту страну,
потом страна начинает на тебя работать;

если бы только ты знал, какие немислимые
события творятся вокруг тебя,
если бы только ты мог забыть хотя бы
половину
из того, что знаешь.

Станислав Бельский

Словари на службе церкви

Так случилось, что женщина, которую он любил, решила уехать из его страны, просто сказала ему однажды, знаешь, я уезжаю, у нас ещё пара месяцев, звони мне пока. ладно, сказал он, ладно, а потом? что потом? — спросила она. что потом станет с твоим номером? у тебя его отберут или ты его отдашь кому-нибудь? понимаешь, о чём я? кто снимет трубку, когда я позвоню тебе через два месяца?

Ну, не знаю, сказала она, номер, наверное, упразднят. как это — упразднят? вот так — возьмут и упразднят. и что дальше? дальше? дальше ничего: я уеду из этой страны, буду чем-нибудь заниматься там — читать, ездить за город, возможно, молиться. а я? а ты? ну, ты тоже молись, если есть время.

Ладно, сказал он, я так и сделаю — выучу какую-нибудь молитву и буду молиться. любопытно, сказала она, любопытно, и о чём ты будешь молиться? о чём? не знаю, о чём-нибудь, какая разница — о чём?

Ты же неверующий, сказала она. ну и что, я же ничего не буду просить, просто буду себе молиться как-нибудь, чтобы делать то же самое, что и ты, понимаешь? если б ещё остался твой номер, я бы звонил, а так — что я ещё могу?

Я знаю, почему всё так получилось: слишком сильная зависимость от словарей, от лексем и прочих дифтонгов, развалившихся на языке, ничем не оправданное доверие к ним, мой язык, я же знаю, мой словарь, напечатанный на светлой горькой бумаге, читанный мною в вагонах и барах, купленный на распродаже в Восточном Берлине, ещё в 90-х, когда я тебя не знал,

я умру патриотом, даже если
ты навсегда покинешь эту страну,
я буду звонить на твой номер, даже
если отвечать будут адские голоса,
я буду листать свой ёбанный словарь,
даже если в нём не останется ни одного
неиспользованного слова.

ничем её не остановить
никак её не разубедить
около 100 тысяч слов и словосочетаний
и даже не поговоришь с ней

Дмитрий Кузьмин

Паприка

За зелёным всполохом овощей,
за двумя подростками, взявшимися за руки,
идти по вечернему супермаркету —
девочка выбирает лимоны и сладкий перец,
даёт поддержать своему парню и, рассмеявшись, кладёт обратно.
До десяти ещё десять минут, они долго
ссорились, она хотела уйти от него, он упросил остаться;
полные карманы всего зелёного,
золотые ассирийские монеты, анальгетики,
сладкая любовь, зачарованная паприка.

Несите отсюда, несите влажную душу, каждый усопший плод
и клубничную
кровь, рыбы, убитые винтами старых пароходов в южных штатах,
фаршированные
серёжками, шпильками британских панков, стонут от кофеина в
жабрах, от чёрных болезней и зелёного света, как будто просят,
несите, ну несите же нас отсюда на ближайшую стоянку,
к ближайшему
автосервису, до ближайшего холодного океана, словно
показывают, выгибаясь
влажными душами, пока те винты в небесах над вечерним
супермаркетом
рассекают сочный воздух, пока под ногтями запекается кофеин,
несите, ну, давайте, прячьте в карманах
тёплые зелёные всполохи, кладите под язык
серебро и золотые монеты, до ближайшего укрытия,
к ближайшему стадиону,
кровь за кровь, господь нас зовёт, повода плавниками.

Вот так, как он держится за неё, я не смогу никогда
держаться ни за кого, и потому безразлично
не миновать мне эту мёртвую плоть, я и так
колебался дольше, чем нужно, не в силах двинуться,
как же теперь не пойти за ними.

Ты ведь знаешь, что ждёт их, правда же? там, где ты сейчас, там, где ты оказалась, ты можешь сказать наперёд: два-три года золотого подросткового замирания в августовской траве, траты мелких денег на отраву, и всё — память заполнит то место в тебе, где обитала нежность.

Вот так, как она за него боится, я не смогу никогда бояться ни за кого, вот так легко, как она кладёт ему в руки эти тёплые лимоны, я не смогу никогда никому ничего отдать, и потому я дальше пойду за ними в долгих изнурительных сумерках супермаркета, с пожелтелой травой под ногами, с мёртвой рыбой в руках, отогревая её сердце своим дыханием, отогревая своё дыхание её сердцем.

Дмитрий Кузьмин

Мормоны

Мормоны построили
церковь, недалеко от театра, разбили
клумбы вокруг, теперь там много кто
назначает встречи;

весёлые, улыбчивые мормоны в официальных
костюмах, с бледными лицами после кровавых
безумных уикендов.

Новые церкви что-то такое творят с кислородом:
если община поутру собирается, достаёт
всякие шаманские штуки, ржавые от крови пружины,
никелированные крюки, чтобы вешать
жертвенные радиоприёмники,
пишет багровым на стенах, —

того, кто дойдёт до этого места, уже не удержит наш голос,
того, кто прочтёт эти надписи, уже не спасёт никакое учение,
следуя кровавому следу своей любви, помни всё время
про ядовитых змей на дне пакетов с органическим молоком.

Когда я стану мормоном,
я буду стоять с друзьями
на солнечной стороне улицы,
смеяться и разговаривать о погоде:
я каждое утро вычищаю из-под ногтей кровь,
потому что я каждую ночь раздираю себе грудь,
пытаюсь вырвать все лишние сердца,
отрастающие во мне каждую ночь,
как земляные грибы.

Дмитрий Кузьмин

Коллаборационисты

Глупо думать, что река — это масса воды,
протекающей через неё, глупо думать, что реки
формируют ландшафт, выправляют его, утекая к югу.
Реки — это имена, сладкая охра фонетики, со
слюной липнущая к языку, едва вымолвишь
любое из них, — и она важнее для пространства,
чем приглушённые русла, вгрызшиеся в чернозём.

Можно сказать, они воевали за имена. Солдаты
батальонов СС со славянскими названиями,
с довоенными фиксами, перебежчики из штрафбатов,
вчерашние зэки, наёмники
на бескрайних просторах под солнцем;
та равнина, которой ты движешься, та пустая родина,
где тебе пришлось воевать, выговаривая:
«наш Днестр», «наш Буг», «наш Кальмиус», —
для тебя теперешнего, для тебя будущего
это лишь полные звуков имена, вдоль которых
еженощно проходят герои
из действующих армий.

Можно сказать, лишь бассейны рек чего-нибудь стоят.
Тогда, в ту войну
реки утекали на юг, вытекая из ландшафта;
заниматься политикой, им всем
довелось заниматься политикой,
бороться за страну, которой ещё и не выдумали,
стоило попытаться, чтобы потом твердить, сколько влезет:

слушай-ка, патриотизм — он касается
только тебя и меня,
знать, за что ты стоишь, — это самое главное:

моя жизнь, что и после смерти никак не кончается,
моя душа, что, как утка, летит по-над берегом,

моё имя, на которое оборачиваются спекулянты,
мои друзья, растерзанные слепыми дождями,
моя территория с вызревшей к августу рыбой,
моя география с байками боевых офицеров,
моё пропавшее в тумане войско,
моя звёздная УССР.

Дмитрий Кузьмин

Контрабанда

В разбитом кресле, выдранным из грузовика,
в протёртом кресле с утра пораньше
последивает за облаками над головой
и за «бубамарой» в краденой цыганской мобиле,
кутается в пуховик
молодой бог европейской контрабанды.

Соотечественники, вот и зима явилась в нашу страну,
подсолнечное масло мерцает в погребах, рыба дремлет в озёрах,
церкви и вокзалы греются изнутри долгими разговорами —
в зимних голосах всегда больше тепла, чем смысла.

Рвать зубами дублёную кожу тулупов и офицерских бушлатов:
наших сыновей, соотечественники, не берут ни ножи, ни пули,
не сносит течение, не сдувает северный ветер,
пока мы знаем по именам
всех святых на кордоне.

Снег на перевале,
суки на таможне —
заберут оружие,
заберут наркотики,
призраком будешь стоять среди золота и тумана,
куда мне, боже, теперь, где, боже, твои карпаты?

С кем до утра кантоваться в этих бесснежных полях?
Как перебраться на тот конец, как вынести на себе
всю злость, какой я набрался без твоего присмотра?
Вытяни меня, боже, из этого дерьма,
если различаешь меня в тумане.

Катись, приبلудное солнце, нашими тихими днями,
давай, моя радость, грейся винами и огнями.
Ну что ты мучаешься, уже и зима прошла,
ничего не осталось, кроме нашего тепла,
кроме этой реки между тобой и мной —
полным-полна она рыбою и водой.

Дмитрий Кузьмин

**УКРАИНСКИЕ
СВАДЕБНЫЕ И РЕКРУТСКИЕ
ПЕСНИ**

Big Gangsta Party

Харьков, 94-й год. Напряжённая криминогенная ситуация. В городе действует преступная группировка, которая бомбит обменники, на государственном радио их называют «группой дерзких молодчиков»;

и вот эта группа дерзких молодчиков долго пасёт оптовый обменник в центре, пасёт-пасёт и наконец выясняет, что в обменнике сейчас лежит несколько мешков бабла — брезентовые мешки с баблом, которые до завтра никто не будет вывозить. Тогда они празднично одеваются и идут бомбить обменник.

А обменник находится в самом центре; они ещё пропускают набитый народом трамвай и лишь тогда идут бомбить свой обменник.

А там им никто, оказывается, не рад, тем более — когда они начинают забирать мешки с баблом.

И вот ты идёшь городом, солнечной стороной улицы, и у тебя всё плохо — ни денег, ни работы, ни социальных перспектив, и тут вдруг из обменника выбегают молодчики в праздничных спортивных костюмах и бегут к бэхе, словно биатлонисты, что оставили далеко позади всех претендентов на оптовое бабло.

Но что можно делать в Харькове, в 94-м году, с мешком бабла? Его можно сдать в оптовый обменник.

Но там они уже всех перестреляли. Так что они
выруливают из-под колёс трамвая
и мчат в никуда.

Но через пару кварталов отсюда
есть уютный каба́к с кокаином,
который называется Элитный клуб «Карамболь».
И они идут прямо туда и начинают расплачиваться
баблом, на котором ещё не высохла кровь инкассаторов.

И что, и им приносят их ведро кокаина,
и, пока они склоняются над ним, как пехотинцы над
пехотной миной, УБОП по своим каналам пробивает их бэ́ху
и начинает штурмовать элитный клуб «Карамболь».

И вот ты идёшь себе,
глядя,
как над
трамвайными проводами
поднимаются инкассаторские души, и всё, чего тебе хочется, —
это просто нормально потрахаться, хоть раз, хоть раз в жизни,
даже чёрт с ними — с социальными гарантиями,
чёрт с ней — с работой,
хоть раз, хоть абы с кем!
И тут вдруг тебе к ногам
начинают выбрасывать тела молодых биатлонистов,
и у каждого из них на груди лейбл адидаса,
как простреленное сердце, так, словно эта команда биатлонистов
попала под перекрёстный огонь своего дубля.

Невидимые и непостижимые,
наши с тобой голоса поднимаются в космос.
Сколько туманных, сладких намёков
оставили нам в наследство духи любви.
Лучше геройская смерть, чем холодная старость.
Спи спокойно, товарищ по борьбе,
я доношу твой найк,
я верну долги,

я буду пользоваться твоей трубой,
отвечая на звонки,
и когда позвонят твои родители,
я скажу, что ты ненадолго вышел,
но скоро вернёшься,
и тогда они заплатят за всё.

Игорь Белов

Украина для украинцев

Раньше в этой гостинице сдавали по часам комнаты, теперь на рецепции табличка: «По часам больше не сдаётся», но всё равно понятно: бордель борделем.

Под окнами с ранья тусят арабы,
и туда-сюда
ходит
проститутка,
её окликают велосипедисты,
вот пройдёт ещё раз
туда-сюда,
и я тоже окликну: Мария, скажу, сестра, что за шняга,
кто столкнул нас лицом к лицу?

И вот она
ходит
туда-сюда
под бывшим борделем, как сирота,
которая помнит в принципе, где раньше жили,
но боится ошибиться, поэтому ходит
туда-сюда
и занимается
проституцией.

К чему я веду? Память тела, лишь она заставляет нас таскаться по всем этим арабским помойкам.

История такая:
мне было пятнадцать,
и в городе, где я жил, появился серийный убийца.
Они тогда как раз активно стали появляться —
серийные убийцы и кооператоры,
могильщики социализма,
их тогда все ненавидели,
в смысле — кооператоров.

Наш серийный убийца ездил на велосипеде,
возникал из мартовского тумана и протыкал
своих жертв
трофейным
немецким
штыком.

И первым делом он протыкал женщин —
беззащитных беспомощных женщин,
которые гуляли по тёмным лесам,
бродили глухими, заметёнными тропками,
блуждали полуночными кладбищами,
сидели у барной стойки — пьяные и размалёванные,
совсем одинокие,
без нижнего белья —
почему-то именно этих беспомощных женщин
он протыкал в первую очередь,
а уж потом садился на свой велосипед
и ехал как раз на первую смену
на молокозавод.

И раз уж его все боялись,
настрополяли на него
охотничьи ружья и
машину пропаганды,
я всегда принимал его сторону,
я думал: ведь память тела — это же клёво,
но вы-то шароёбитесь себе по магазинам
и кинотеатрам,

а он каждый вечер выходит за проходную завода
и садится на свою «Украину», и мчится домой,
и следом из-за угла выскакивают бесы
на таких же «Украинах», и мчатся за ним в мартовском тумане,
пытаясь выхватить у него из рук трофейный штык,
и никто из вас,

слабаки,

не видит этой

дьявольской гонки сквозь тишину и мрак,
этих чёртовых перегонов, никто из вас
не слышит и не чувствует, как летят они на своих велосипедах
к угрюмым воротам ночи.

А тот, кто в воротах ждёт,
чем закончится эта гонка,
не выходит из сумерек,
стоит, укрывшись в тени,
и думает так:

вот они мчатся прямо сюда,
безумные велосипедисты,
всадники апокалипсиса.
Не столь важно, кто из них придёт первым,
не столь важно, в конце концов, кто из них придёт последним,
не столь важно, доедут ли они вообще.
Главное — это страх, который
кладётся под язык
и не даёт говорить правду,
да, страх, — удовлетворённо
повторяет он,
отправляясь домой
проверять мою
домашнюю
работу.

Дмитрий Кузьмин

Лукойл

Когда приходит пасха и небо становится терпимее к нам,
и все напрягаются — мол, пасха, а как же,
тогда в земле начинают переворачиваться покойники,
разбивая локтями холодную глину.

Мне доводилось хоронить друзей,
я знаю, как оно — закапывать своих друзей,
словно собака кость,
ожидаая, когда небо
станет к тебе терпимее.

И есть такие социальные группы,
для которых подобные ритуалы особенно важны,
я имею в виду, главным образом, средний бизнес.
Всем доводилось видеть,
какая тоска охватывает этих региональных
представителей российских нефтяных компаний,
когда они съезжаются на бескрайние
кладбищенские поля, чтобы закопать
ещё одного брата с отстреленными лёгкими;

всем доводилось слышать твёрдое биение сердец,
когда они стоят возле гроба
и вытирают скупые слёзы и сопли о свои
дольче и габана,
и хучачат хеннеси
из одноразовой
посуды.

Вот так, Коля, — говорят, — вот тебе и откат.
На бескрайних полях оффшора
мы, как дикие гуси осенью, падаем в холодные
плёсы забвения, с дробью в печёнке.

Так как, — советуются, — мы
снарядим нашего брата

в его долгий путь
до сияющей Валгаллы Лукойла?
Кто будет сопровождать его
в тёмных пещерах чистилища?

Тёлки, — говорят все, — тёлки,
ему нужны будут тёлки,
хорошие тёлки,
дорогие и без вредных привычек,
они будут греть его зимой,
они остудят ему кровь по весне,
слева от него будет лежать платиновая блондинка
и справа от него будет лежать платиновая блондинка,
так, чтобы он даже не заметил, что уже умер.

Ох, эта смерть — территория, где не ходят
наши кредитки.

Смерть — территория нефти,
пусть она омоет его грехи.

Мы положим ему в ногах оружие и золото,
меха и тонко помолотый перец.

В левую руку мы вложим ему последнюю Нокию,
в правую руку — правильную ладанку из Иерусалима.

Но главное — тёлки,
две тёлки, главное — две платиновые тёлки.

Да, это главное, — соглашаются все.

Главное, — соглашаются тёлки.

Главное-главное, — поддакивает Коля из своего гроба.

На пасху мы все такие сентиментальные.

Стоим, ждём, когда мёртвые
встанут и выйдут к нам с того света.

Никогда так не интересуешься смертью,
как хороня друзей.

Когда они третий день дежурят
под дверью морга, он утром третьего дня
попирает, наконец, смертью смерть и выходит

Михаил Светлов

О чём пишут современные поэты?

Современные поэты пишут об ускользающей, прихотливой
субстанции своего страха; сатана поэзии смазывает
сажей замки на дверях, и ты сидишь со своими страхами
и пишешь об этом стихи, текст за текстом,
вот такое впечатление
остаётся
от современной
поэзии.

В то же время есть отдельные социальные группы, которые мало
интересуются

субстанцией страха. Я имею в виду средний бизнес.

Демоны чёрного нала,
которые поднимают с колен
республику,
признавая лишь двух настоящих друзей —
друга Стечкина
и друга Макарова.

Поэты не знают о любви ничего,
любовь — это желание иметь детей после дефолта.

Кто видел солнечные небоскрёбы в центре, тот меня поймёт.

В одном из них жил Марат,
который тянул
трубу через Кавказ

и дотягивал её уже до границы.

Ну, и всё было хорошо —
благословение со стороны московского патриархата
и крышевание со стороны областной администрации,
и три женщины, которых он любил и содержал,
то есть жена, любовница и ещё одна баба, с которой он трахался,
одним словом — интенсивная личная жизнь.
Но что ему не давало покоя — это его сны,
в которых он выползал на жгучие поля Андалузии

и сидел на белом песке,
напевая —

о, Андалузия, женщина
с чёрной кровью,
эта твоя чёрная кровь
чернее месопотамской нефти.

О Андалузия тишины,
Андалузия страсти,
я твой пёс, Андалузия,
твой беспонтовый бродяга.

Но все три женщины говорили ему — Марат, ёбанный в рот, Марат,
в стране, Марат, бардак, возьми кредит, разрули с растаможкой,
кровь, Марат, кровь в твоей трубе, кровь на твоих пиджаках.

Но, засыпая, он в сотый раз повторял:

Твои чёрные-чёрные волосы
длиннее коридоров Рейхстага,
длиннее очереди у Мостиски*,
длиннее фамилий венгерских депутатов.

И кто был на окружной в районе ростовской трассы,
тот знает этот частный сектор. В одном из тех коттеджей
и жила третья женщина Марата,

там он
и забухал.

Что-то в нём сломалось, он взял таки этот
кредит и приехал к своей третьей

женщине
с чемоданом
бабла.

* Мостиска — пропускной пункт на польско-украинской границе.

Вот, — сказал со злостью, — сто штук, мой кредит,
мои пароходы и порты.
И уже после этого забухал.
Возможно, в нём тоже
заговорила субстанция страха, потому что он пил
день, потом пил ещё один день, потом снова пил,
выпил духи Сальвадор Дали,
всё повторяя — моя Андалузия, моя Гренада.

Потом в коттедже они делили его тело.
Мне, — сказала жена, — похуй бабки,
мне нужен он, я забираю его.
Нет, — сказала любовница, — мне тоже похуй бабки,
тем более я была в доле,
но его забираю я.
А третья сказала, — а вот мне бабки абсолютно не похуй,
вы не подумайте, что я такая сука,
просто сто штук это деньги всё-таки, но его я тоже любила,
он даже духи мои выпил,
поэтому он достанется мне.

И вот они сидели над его телом
и делили его между собой,
потому что есть много причин держаться за близких нам людей,
потому что так или иначе любовь — это командная игра,
потому, в конце концов, что больше смерти
каждый из нас боится
остаться
один на один
со своей
жизнью.

Игорь Белов

Прощание славянки

Сколько доводилось видеть даунов,
но таких даже я не видел —
один в футболке Звонимира Бобана,
другой — в футболке Бобана Марковича,
такая себе сборная Югославии по клоунаде.

Ага, и вот они садятся в вагон и сразу
достают карты, и начинают играть на деньги.
А денег ни у того, ни у другого нет.
Но чёрта с два, — думает Звонимир Бобан, — сейчас
я раздену этого клоуна, — думает он
про Бобана Марковича, — сейчас
я выбью
из него
всё говно.

И Звонимир Бобан говорит Бобану Марковичу, — братуха,
братишка, нам главное, чтобы нас не ссадили до Вены, потому что
уже в Вене
всё будет к нашим услугам, и Шенген упадёт нам в руки,
как переспелая груша. Проститутки, братуха, будут вытирать
нам кроссовки
своими косами,
мы въедем со стороны Братиславы, на ослах,
как два Иисуса,
ты и я, братуха,
ты и я.

Ага, — отвечает Звонимиру Бобану Бобан
Маркович, — конечно: как два Иисуса,
выбьем из этого города всё говно, перехватим у этих ёбанных
украинцев рынок крадёных мобильных телефонов.
Ты только представь, братишка, сколько в
мире загадок и тайн, сколько борделей
и краденых телефонов:

нам жизни не хватит, чтобы объехать наши уголья
на ослах.

А тот ему и отвечает: хватит, братуха, хватит,
жизнь растягивается, как баян, я буду
тянуть в одну сторону,
а ты — в другую.

И вот они едут, закинув
наверх чёрный чемодан,
в котором лежит, сложенная вдвое, их
великая славянская идея,
и эта их великая славянская идея —
акробатка женевского цирка,
девчонка, которую они сложили вдвое и упаковали в чемодан,
время от времени
доставая её оттуда
и делясь с ней хлебом и ракией.

Главное — довести славянскую идею до Вены,
въехать в город
во главе автоколонны паломников.
В мире столько девственных душ,
столько несломленных протестантов
и не украденных мобильных телефонов,
что лишь успевай растягивать
эту жизнь.

Ну что, дальше они начинают петь,
разумеется — балканские песни,
такие бесконечные, что их даже своими словами не перескажешь,
но примерно так:

Когда солнце встаёт над Балканами
и первыми своими лучами касается волн Дуная,
они — волны Дуная — начинают подсвечиваться,
словно на дне лежат золотые червонцы,
и тогда храбрые солдаты сербской гвардии

прыгают в Дунай, вместе со своими ружьями,
чтобы достать золотые червонцы для девиц
из портовых кварталов;
так они и тонут — вместе со своими ружьями,
и волны Дуная волокут их по песчаному
дну в сторону моря, и
из-за их тёмных-тёмных мундиров
море называется Чёрным.

Игорь Белов

Трамадол

Продвижение товара на рынок начинается с активизации целевой аудитории. Это как в библии — сначала приходит предтеча и разводит всех на кредиты с процентами, потом появляется спаситель и ликвидирует проценты, оставляя, впрочем, кредиты. Надо было внимательно слушать книги, которые нам читали в детстве, вот что я думаю всякий раз, когда доводится слышать о трамадоле.

Вся эта детская борьба украинского либерализма с опиатами, она напоминает мне деятельность Красного креста времён Первой мировой, когда члены царской семьи работали медсёстрами в военных госпиталях. Я себе это хорошо представляю — вот ты лежишь без правой ноги, и всё, чего тебе хочется, — это просто нормально потрахаться, даже без правой ноги, это ведь не обязательно, правильно? А тут сидит какая-то сука из царской семьи и читает тебе про царицу Савскую. То же самое и с трамадолом.

Несколько лет назад, когда мы переживали очередной всплеск борьбы с детской наркоманией и когда начали забирать даже не за употребление, а просто за покупку товара в официальных торговых точках, молодёжь Харькова нашла чудесный способ борьбы с системой — она подходила к аптечному киоску, заказывала свой трамадол, засовывала голову в окошечко, и киоскёр клал ей её трамадол прямо на язык: поди поймай меня, если сможешь.

За всем этим стоит дух просвещения: господь наш придумал трамадол, чтобы

сгладить те острые противоречия, которые существуют
в общем цивилизационном развитии.
Трамадол откладывается на устах влюблённых,
когда они целуются в кинотеатрах.
Трамадол приносят птицы в клювах
весной, когда возвращаются из Гурзуфа.

Система борется не с нами,
система борется с нашими вредными привычками.

Каждый вечер весёлые ватаги подростков
выбираются на очередные боевые вылазки,
в праздничных спортивных костюмах,
взяв с собой лишь бритвы и мобильники,
отправляются к ближайшему аптечному киоску
освободить Иерусалим от неверных.

Те из них, кому повезёт,
будут охранять гроб господень.
Те, кому не повезёт,
будут охранять платные стоянки.

Бритвы им оставят по-любому.

Игорь Белов

Госпелс и спиричуэлс

Чем интересуется современное искусство? В той дыре, в которой оно оказалось, современное искусство интересуется исключительно чёрно-белыми карточками, на которых сфотографированы наши лёгкие — дырявые, словно паруса китайских рыболовецких лодок.

Вместе с тем, есть целые этнические и религиозные группы, которые существуют параллельно официальной культуре и нисколько не прячтся по поводу смерти искусства.

Скажем, греко-католики Галиции, которые говорят: смерть — это будильник, ты сам заводишь его на шесть утра, а когда он будит тебя своим сатанинским дребезжанием, начинаешь ныть: мол, ещё пять минут, всего лишь пять минут.

На рождественские праздники мне пришлось переезжать польско-украинскую границу, и это был полный автобус греко-католиков Галиции, женщины в платках, с тысячей растаманских амулетов и оберегов, женщины, которые сплавляли в Перемышле рождественский спирт и на вырученное бабло закупили иконки, свечи и поношенные мощи святых для своих тёплых греко-католических приходов.

Но две женщины — очевидно, это были женщины без амулетов и оберегов — что-то не скинули, не успели скинуть, не закупили мощи для своего прихода, и понимали, что им за это будет, как они влетели, неудивительно, что они вели себя агрессивно, цеплялись к другим женщинам,

к их иконкам, и постепенно всё это
превращалось в большие разборки,

сукаблядь — кричали они друг другу, будто старое
вудуистское проклятие,
сукаблядь — повторяли водители, держа в руках
серебряные распятия,
сукаблядьсукаблядь — шептали во сне дети,
жуя сладкую ганджу.

И от этих слов огненный вихрь
вздымался над снежными полями,
ага — именно огненный вихрь,
и пока всё это продолжалось,
снег сворачивался,
словно кровь,
на холодных полях Галиции.

Но стоило этим сукам
пересечь государственную границу,
как пожалуйста —
тишина настала в автобусе,
даже дети перестали жевать ганджу,
такая настала тишина.

И в этой тишине какая-то одна женщина — возможно,
наиболее набожная, возможно, как раз
наоборот — та, которая не скинула спирт,
но какая-то одна затынула колядку.

И вскоре уже все женщины в тёплых платках,
и водители, которые уже давно опухли от этих колядок,
и даже дети, которые тоже давно от всего
этого опухли, начали петь старые колядки,
и странные были это колядки, скажу я вам,
очень странные,
если пересказывать своими словами,
то примерно такие:

*Тепло и благодать сходят на землю Галиции,
на наши тёплые приходы, на наши церкви,
крытые серебром и авиационным дюралюминием.
Спаситель стоит среди наших овец,
в руках у него — коровий колокольчик,
и он играет нам наше греко-католическое ска.
Царь Соломон приходит в Галицию
со стороны словацких гор,
и из сердца у него растёт прикарпатская ганджа,
из которой он наделает кутьи для весёлых
детей из приграничных районов.
И председатели колхозов, выходя ему навстречу,
говорят — радуйся, Соломон, радуйся, Спаситель,
Сын божий родился.*

*И снег падает на землю.
И земля падает на снег.*

Игорь Белов

Грибы Донбасса

Донбасс весной тонет в тумане, и солнце прячется за сопками.
Поэтому нужно знать места,
нужно знать, с кем договариваться.

Это был рабочий бывшего насосного цеха,
мужик, потрёпанный алкоголизмом.
— Мы, — сказал при знакомстве, — рабочие насосного цеха,
всегда считались элитой пролетариата, ага, элитой.
В своё время, когда всё полетело к ебням, много кто
опустил руки. Только не работники
насосного цеха, только не мы.
Мы тогда собрали независимый профсоюз горняков,
захватили три корпуса бывшего комбината
и начали выращивать там грибы.

— Как грибы? — не поверил я.
— Так. Грибы. Хотели выращивать кактусы с мескалином, но у нас,
в Донбассе, кактусы не растут.

Знаешь, что главное, когда выращиваешь грибы?
Главное, чтоб тебя пёрло, точно, друг, — главное, чтобы пёрло.
Нас — пёрло, поверь мне, нас и сейчас прёт, возможно, потому,
что мы всё-таки элита пролетариата.

Ну, и, значит, что — мы захватили три корпуса
и высеяли наши грибы.
Ну, и там — радость труда, чувство локтя,
сам знаешь — это пьянящее ощущение трудовых свершений.
А главное — всех прёт! Всех прёт и без грибов!

Проблемы начались уже через пару месяцев.
У нас тут серьёзный район, сам видишь,
недавно сожгли заправку, причём милиция
там всех и накрыла, они даже заправиться
не успели, так хотели её сжечь.

И вот одна бригада решила на нас наехать,
решила забрать наши грибы, ты представляешь?
Я думаю, на нашем месте каждый
прогнулся б, такой порядок — прогибаются все,
каждый в меру своего
социального
статуса.

Но мы собрались и подумали — хорошо, грибы — это хорошо,
но дело не в грибах, и не в чувстве локтя,
и даже не в насосном цехе, хотя это был аргумент.
Просто мы подумали — вот сейчас взойдёт урожай, вырастут
наши грибы, вырастут и, условно говоря, заколосятся,
и что мы скажем нашим детям, как мы посмотрим им в глаза?
Просто есть вещи, за которые ты должен отвечать, от которых
ты не можешь просто так отказаться.
Вот ты отвечаешь за свой пенициллин,
а я отвечаю за свой.

Одним словом, сошлись прямо на грибных плантациях. Там мы
их и повалили. И когда они падали на тёплые
сердца грибов,
мы думали —

*Всё, что ты делаешь своими руками, работает на тебя.
Всё, что ты пропускаешь через собственную совесть, бьётся
в такт с твоим сердцебиением.
Мы остались на этой земле, чтобы нашим детям недалеко
было ходить на наши могилы.
Это наш остров свободы,
расширенное сознание
сельского хозяйства.
Пенициллин и Калашников — два символа борьбы,
Кастро Донбасса ведёт партизан
сквозь туманные грибные плантации
к Азовскому морю.*

— Знаешь, — сказал он мне, — ночью, когда все засыпают
и тёмные почвы впитывают в себя туман,

я даже во сне чувствую, как земля движется вокруг солнца,
я слушаю, слушаю, как они растут —

*грибы Донбасса, неслышные химеры ночи,
выходя из пустоты, вырастая из каменного угля,
пока сердца стоят, словно лифты в ночных домах,
грибы Донбасса растут, растут, не давая умереть
от тоски всем разуверившимся и пропащим,
потому что, чувак, пока мы вместе,
до тех пор есть кому перекапывать эту землю,
находя в её тёплых внутренностях
чёрный цвет смерти,
чёрный цвет жизни.*

Игорь Белов

ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО ЭТОЙ ЗИМОЙ



Лучшее, что было этой зимой, —
её следы на первом снегу.
Тяжелее всего было канатоходцам —
как им держать равновесие
с этими сердцами, что так и тянут в сторону?
Хорошо, должно быть, когда у тебя два сердца —
можно зависать в воздухе,
можно задерживать дыхание,
в упор разглядывая
зелёных медуз снега.

Лучшее, что было этой зимой, —
деревья и птицы на них.
Вороны были похожи на телефонные
аппараты, которыми пользуются
бесы радости.
Они сидели на деревьях, а деревья зимой
словно женщины после развода —
тёплый корень переплетается
с холодным,
тянется в темноту,
требует света.
Хорошо было бы
научить этих ворон пению
и молитвам, чтобы занять их хоть чем-то
мокрыми мартовскими утрами.

Лучшее, что только могло случиться,
случилось именно с нами.
Это всё март, — говорила
она разочарованно, — это всё
потому, что март:
вечером долго ищешь
по карманам рекламные листовки,
а утром изумрудная трава,

что растёт под кроватью,
горько и жгуче
пахнет
мячами для гольфа.

Игорь Белов



Летом
она ходит по комнатам,
ловит ветер форточками,
словно неумелый рыбак,
что никак не поставит
свои паруса.

Подстерегает сквозняки,
расставляя на них ловушки.

Но сквозняки говорят ей:
твои движения слишком нежны,
твоя кровь слишком горяча,
с такой-то выдержкой
что ты поймаешь
в жизни!

Слишком высоко
ты поднимаешь ладони,
пытаясь поймать то, чего нет.
Всё, что вылетело у нас
из рук, — лишь пустота.
И всё, на что
не хватает терпения —
лишь ветер, который парит
над городом.

Солнце в утреннем небе
похоже на апельсин
в школьном ранце —
единственное, что имеет реальный вес,
единственное, о чём думаешь,
когда становится особенно
одиноким.

Игорь Белов



Если б я был почтальоном
в её квартале,
если б я знал, откуда
приходят к ней заказные
письма,
может, я лучше
понимал бы жизнь,
знал бы, как та приходит в движение,
кто её наполняет песнями,
кто наполняет слезами.

Люди, читающие газеты,
люди с горячими
сердцами, с добрыми душами
стареют и никого об этом
не извещают.

Если б я был почтальоном
в этом квартале,
я бы даже после их смерти
поливал цветы
на сухих балконах
и кормил одичавших котов
на зелёных кухнях.

Чтобы, сбегая по лестнице,
слышать, как она скажет:

почтальон, почтальон,
всё моё счастье
помещается в твоей сумке,
не отдавай его
молочникам и железным вдовам,

почтальон, почтальон,
смерти нет
и нет ничего после смерти.

Есть надежда,
что всё будет так,
как мы захотим,
и уверенность,
что всё стало так,
как мы захотели.

Ах, какой у неё
голос, горький и невесомый.
Ах, какой у неё
невозможный,
неразборчивый почерк.
Этим почерком надо
подписывать смертные приговоры:
никто ничего не исполнит,
никто ни о чём не узнает.

Андрей Щетников



Город, в котором она исчезла,
пылает флагами, лежит за снежными перевалами.
Охотники выгоняют дичь из протестантских соборов,
синие звёзды падают в озеро
и убивают неторопливую рыбу.
Ах, эти улицы, над ними нависают канатоходцы,
ах, как они балансируют за школьными
окнами, вызывая восторг,
как уворачиваются от озёрных чаек,
а те хватают с её ладоней
золотые невесомые чипсы.

Там, где мы с нею когда-то жили,
мы не знали ни часу покоя и созерцания.
Мы бились об острый ночной тростник,
скидывали одежду, как балласт, в чёрную шахту лифта,
чтобы продержаться в воздухе ещё одну ночь,
ненавидя и не прощая,
не принимая и не веря,
гневно проживая самые лучшие дни
нашей жизни.

А этот город, в котором она наконец исчезла,
нежно берёт её за руку,
и открывает ей свои склады и хранилища.
Ах, эти порты, куда выходят из трюмов
спрятанные там сенегальцы,
чёрное мясо сердец,
слоновая кость их глаз,
ах, эти заполненные
сыром подвалы,
гостеприимные протестантские города,
в них можно переждать Страшный Суд,
здесь такие искусные адвокаты,
такие неприступные стены.

Там, где мы с ней
когда-то грелись на кухнях,
рядом с синим газовым пламенем, от нас
не найти и следа. Время, старый канатоходец,
сто раз упало вниз, сто раз поднялось наверх,
с переломанными ключицами и стальными зубами,
ему всё равно, в каком направлении идти —
залижет раны и снова танцует меж чаек.

Вот только город, в котором ей удалось исчезнуть, —
какие тут красивые сорочки и платья,
какая бархатистая кожа
у пилотов и китайских студенток.
Ах, этот свежий альпийский воздух,
этот привкус крови после
изнурительных поцелуев.

Она ничего не забыла там, откуда уехала.
Ни единого голоса, ни проклятия.
Жизнь — весёлое перетягивание каната.
С одной стороны тянут ангелы,
с другой стороны — адвокаты.
Адвокатов больше.
Но и услуги их стоят дороже.

Андрей Щетников



Святой Франциск воздвиг этот город для серферов и героев.
Он вёл сюда корабли королевских флотилий и ставил их
в тихих бухтах, над которыми витали туманы.
Испанцы выпрыгивали на берег, и русские моряки
в спасательных шлюпках, а искатели золота из Китая
прошивали ночь фонарями и дивились теням на взгорьях.
И каждый возведённый собор был как натруженный голос:
свободы хватит на всех, вы только не держите её для себя,
делитесь хлебом и углем на зиму,
глядите на солнце сквозь бутылочное стекло океана,
золото перепадает всем,
но любовь достаётся лишь самым смелым!

Тысячи лет нужны,
чтобы извлечь из земли все её богатства,
тысячи ночей уйдут на то,
чтоб изучить повадки скумбрии в здешних водах,
тысячи слов понадобятся тому, кто беседует с вечностью.
Чума вступает в праздничный порт,
и за ней высыпают из храмов девушки и подростки,
дерзкие и золотокожие, с первыми исповедями
и католическими песнопениями —
делитесь книгами и яркой одеждой,
делитесь кофе и овощами,
в этом городе все мы защищены волноломами и стенами крепости,
столько радости свезено сюда со всего света,
что же нам делать с ней,
что же нам делать с ней?

Я знаю, что святой Франциск хранит её,
когда она появляется здесь на конференциях или в библиотеках,
хранит её всякий раз, когда она бродит по магазинам,
считает мелочь, на которую можно дотянуть до отъезда,
хранит её от врагов, хранит её от друзей.

И раздражается, когда я ему подсказываю:
делись с ней своим терпением,
делись усталостью, делись весельем,
в этом городе на кого ещё ей положиться, если не на тебя,
в этой жизни о ком ещё нам с тобой говорить, если не о ней,
кого нам ещё хранить,
кого ревновать,
Франциск?

Дмитрий Кузьмин



И тогда она говорит —
я знаю, чем всё это кончится:
тем, что всё, наконец, закончится. И всё это так же верно,
как то, что я буду страдать, а ты отлавливать новых покойников,
отпуская тех, что попались первыми.

Но я ей говорю —
страдать уже больше не нужно.
Никому никогда страдать уже больше не нужно.
Иначе зачем тогда существует вся эта наша поэзия,
зачем открываются шлюзы и шахты в воздухе этом душном?

Для чего тогда мы разбавляем вечернего неба свечение
колядками и стихами до умопомрачения?
Ведь каждый нормальный поэт остановит одной своей строчкой
любое кровотечение.

И тогда она спрашивает:
почему же эти поэты ведут себя, как идиоты?
Почему живут, как пришельцы, умирая, как стрелки
подзаборной роты?

Почему же не остановят
хоть что-нибудь, хоть кого-то?

А я ей говорю: потому что трудно носить в своём теле чужие раны,
потому что и у святых разговоры свои и весьма невнятные планы,
потому что нормальные перевелись, а те, что остались, —
воры и шарлатаны.

Лечат детей и собак, на перекрёстках молятся,
будущее предсказывают по голубям и горлицам,
живут себе, выбирая
между смертью и безработицей.

Так что всё завершится, начавшись сызнова, без жалости и печали,
уходя в открытое море и встречаясь на том же причале,
наполняя всех нас любовью, наполняя забвением,
сразу же,
в самом начале.

Игорь Белов

PACTĚT TPABA



Тот, кто болтает про смертный час,
тонет в собственной лжи.
Я знал когда-то в лицо всех вас,
лузеры и алкаши.

Вам голоса ломал никотин,
я слышал — слабели они.
Сегодня не вспомнит уже ни один
сумасшедшие эти дни.

Когда, словно нефть, горел Орион,
в подворотнях дымилась шмаль,
и ветер разглаживал складки знамён,
словно арабскую шаль.

Когда вы во мглу золотую шли
сквозь сумрак парадняков —
юные нищие короли
борделей и кабаков.

И не было жизни вашей конца,
петляла она, как роман,
и проституток шальные сердца
разогревали туман.

Я знаю, нет ничего у вас,
кроме сплошных обид.
И в тёплых проталинах ваших глаз
лишь время, застыв, стоит.

Смерть — такой же, как вы, торчок,
грехов у неё полно,
да сердце заячье с кулачок,
всю ночь замирает оно.

Ты говоришь ей: сестра, давай,
сестра, за меня держись.
Я помню всё, что было, пускай
и не в этом вся наша жизнь:

твой чёрный бит, твой утренний жар,
героический твой бодун.
Я лишь последний живой коммунар
твоих алкогольных коммун,

я тот, кто не раз тебя выносил
из тьмы коммунальных квартир.
Попробуй загнать, если хватит сил,
свой монопольный спирт.

Попробуй теперь собери опять
весёлые наши войска,
пусть снова заря нам будет сиять,
причудлива и близка.

Ударь-ка в свой полковой барабан,
тяжёлых вспугни ворон —
пускай улетают в густой туман,
всех принимает он.

Пусть солнце сорвётся, радость моя,
и упадёт с высоты.
Сначала держать его буду я,
потом держать будешь ты.

Игорь Белов



Темень и сладость зимней поры.
Вечер — тяжёлый, рассвет — невесомый.
Женщины чистят в снегу ковры,
словно разбив огород возле дома.

Неба бутылочное стекло
с пригоршней звёзд и чертей зелёных,
и горлом плывёт золотое тепло,
как жёлтый мёд раскалённый.

Почтовая сумка с последним письмом,
мокрые деньги и тёплые бары,
кометы с ярким фазаньим хвостом
сугробам наносят удар за ударом.

Всех, кто в пути этой долгой зимой,
будут без сна дожидаться дома.
На всё, что случится с тобой и со мной,
ляжет сумрак терпкой истомой.

Так бы и жечь густые огни,
так бы и слушать, во мгле сгорая,
как щука на дне коротает дни,
намертво в лёд вмерзая.

Игорь Белов



Август уходит из тёплых кварталов,
река обнажает камыш и траву,
и беспризорные дети вокзалов
терпкие звёзды яблок рвут.

И в чёрных ночлежках, с загадочным видом,
чувствуя в этом условный знак,
читают на девичьих лицах обиду
и курят взаимправдашный взрослый табак.

В их цепком медленном разговоре,
привычном жестоким детским сердцам,
столько любви и злого горя,
что не снилось и мертвецам.

Может быть, твёрдое, словно гравий,
время, что убивает нас,
из их исковерканных биографий
когда-нибудь новый язык создаст.

Может, как призраки, эти парни
в тумане, окутавшем архипелаг,
солдатами свежесколоченных армий
когда-то встанут под чей-то флаг

и злость, которой у них навалом,
будут всё время нести в руках,
прорвавшись к карпатским глухим перевалам
и окопавшись на сербских хребтах.

И смельчаки, те, кто шагом пешим
идут без улыбок и лишних слов,
на фонарях ещё будут вешать
гадалок, мошенников и шутов.

Будет разорвана аккордеоном
дезертирская ветреная душа,
и будут на рынке в каждом районе
хлеб и патроны для калаша.

И будут крепнуть с каждой ночью
времени хрупкие позвонки,
ласточки в небе оттачивать почерк
и рыбы плыть по теченью реки.

Игорь Белов



Возьми лишь самое нужное. Письма — да.
Возьми лишь то, что сама понесёшь туда.
Возьми рушники и иконы, серебряные ножи,
деревянные распятия, золочёные муляжи.

Возьми хлеб и овощи, потом ступай.
Мы уже никогда не вернёмся в этот край.
Мы уже никогда не увидим свои города.
Письма — все. До последнего злобного, да.

Нам уже в ночных ларьках ничего не купить.
Из сухих колодцев нам никогда не пить.
На знакомые лица нам уже не взглянуть.
Мы с тобою беженцы. В ночь пролегает путь.

Нам с тобой бежать по подсолнуховым полям.
Нам спастись от псов, ночевать в хлеву, как волам.
Нам ладонями черпать воду, жить в лагерях чужих,
нам дразнить драконов со знамён боевых.

Друзья не вернуться, ни ты — под родимый кров,
не будет задымлённых кухонь, привычных чинов,
не будет сонного света уличных фонарей,
Не будет зелёных долин и пригородных пустырей.

Будет распухшее солнце в плацкартном окне,
холерная яма, известь с краями её наравне.
Будет кровавая обувь на женских ногах,
измученные караулы в пограничных снегах,

подстреленный почтальон со своим порожним мешком,
священнику крюк под ребро с беззаботным смешком,
кладбищенская тишина, гомон комендатур,
списки жертв, отпечатанные без корректур,

бесконечные, не напасёшься времени на
ежеутренний поиск: увидеть свои имена.

Алексей Цветков



Каменщики утром приступают к работе,
с мастерками звонкими, как монеты,
других забот и нет у них вроде —
тьму навсегда отделять от света.

Дети озираются, задирая головы
на картонку неба, прожжённого навывлет,
мечтают стать каменщиками с железными горлами,
с карманами, полными солнечной пыли.

А в драных учебниках, что лежат в их ранцах,
лишь порох и фамилии умерших поэтов,
никакого золота на женских пальцах,
никаких опасностей, никаких секретов.

Когда же к обеду движется время,
рабочие достают хлеб с овощами,
и вокруг домá ростом с дерева,
а радио поёт, любовь обещаая.

И дети с завистью глазеют на рабочие блузы,
на скрипучие лифты и тяжёлые сваи.
И их сердца, как волокна кукурузы,
чувствуя осень, в воздухе застывают.

Игорь Белов



Снега проходят, им не век лежать,
и в полумраке мартовской поры
стоят на кухнях женщины опять
и месяцы там варят, как сыры.

И тёплый дым, бесплотный, как душа,
к далёкой поднимается звезде,
и самый долгий месяц, не спеша,
расходится кругами на воде.

Ведь каждый месяц знает свой шесток
среди ножей, коробок и весов;
их имена длиннее, чем глоток
тяжёлой влаги женских голосов.

Их жёлтые тела легки, как блуд,
как пение и плач календарей,
и женщины на берег их несут
для беженцев, убийц и блатарей.

И солнце пастухов и рулевых
своим горячим делится добром
с неяркой медью птиц береговых
и полусонных карпов серебром.

А женщинам так нужен мрак и дым,
поскольку вспоминаются в ночи
секреты, что передавали им
гравёры, антиквары и ткачи,

поскольку, всё спаливши на огне,
они не спят, настаивая яд,
покуда ил лежит на глубине
и крыши над безмолвием стоят.

И чтобы месяц не темнел лицом,
и был бы свет для каждого из них,
растёт трава, что примет мертвецов,
растёт трава, что вылечит живых.

Игорь Белов



Наши дети, Мария, растут, как будто трава:
ладони мозолисты, острижена голова,
на остановках с утра — неприкаянны, как пираты, —
временная прописка, да и страна чуть жива.

Страхи у них свои, свой в почёте закон,
им не нужны перемены, а запрет им смешон.
Какие уж там перемены в том, чего нет на свете,
и какие запреты могут быть в час похорон?

А сын твой, Мария, говорит чудные слова,
видит знамения, о его чудесах — молва,
и твердит нам упрямо, что лишь в любви вся сила,
как если бы от любви росла из земли трава.

Говорит, что законов тьма — не видно ни зги,
что страхи наши пустые не стоят и мелкой деньги,
что враги появляются среди нас потому лишь,
что мы сами ведём себя как враги.

Но мы-то прекрасно знаем своих врагов:
сколько их снуёт вдоль нашенских берегов,
сколько их работает на наших заводах,
сколько их почитает наших богов.

Кто их привёл, скажи, на наши поля?
Какого беса их терпит наша земля?
Почему наши дети должны проверять у них аусвайсы —
кто они и откуда? Туда Макар не гонял теля.

Почему же, Мария, твой сын липнет к этим чужим,
объясняет им, из каких рычагов и пружин
небеса над нами составлены этой ночью,
пестует их детишек и веселит их жён?

Говорит, не бывает чужих там, где такая тьма,
где полгода дожди, а потом полгода — зима,
говорит, что чужими нас делает наша гордыня,
она сама нас находит и убивает — сама.

А потому наши дети просят тебя передать ему:
пусть валит отсюда в свою непроглядную тьму
и всех чужеземцев пускай с собою прихватит,
тех, кто верит ему неведомо почему.

Пусть проваливает отсюда, подалее от греха,
иначе мы пустим в небо красного петуха,
чтоб огнём горели их синагоги и минареты,
где гнездится непонятная нам чёрная чепуха.

Пусть забирает книги и свитки, Талмуд и Коран,
за околицу пусть уводит этих несчастных цыган,
муфтиев и раввинов, книжников и пророков,
если есть куда вывести этот безумный стан.

А если не выведет, то сам пожалеет о том:
уцелеют лишь те, кто двинет за ним гуртом,
а тех, кто останется и не погибнет в пожаре,
мы сгоним к реке и утопим под тем мостом.

Пусть забирает отсюда этих несчастных людей,
пусть дурит им головы любой из своих идей.

Но пусть вернётся потом, чтоб спасти от смерти
если не нас, то хотя бы наших детей.

Борис Херсонский



Мы приехали к ночи, пересекая тьму,
караваном из трёх внедорожников шли тишком,
обогнув перевал, что таился в густом дыму
и простреливался одним пехотным полком.

На дворе вполголоса переговаривалась родня
и клубилась в морозном воздухе анаша,
и суровые люди расселись вокруг огня,
набивая привычно запасные рожки калаша.

И вошли мы в дом, и женщины там, внутри
молча расступились, впуская нас,
и качались в руках армейские фонари,
отгоняя тени от скул и от тёмных глаз.

И сказал командир — сестрёнка, тихим огнём
нынче каждая светит тропа, что сюда вела,
и пастухи упрямо бредут по ним,
потихоньку прихлёбывая из горла.

Все потоки, сестрёнка, холодные все пруды,
перемёрзшие, словно ладошки больных детей,
нынче тоже сияют, и даже трепет звезды
сладко загустевает эхом благих вестей.

Твой малец будет знать все слова и все имена,
он вместит в себя и охватит собою всё,
нашу злость и печаль, что гложут нас дотемна,
всё, что нас заводит, братает нас и несёт.

Ему будут послушны все твари земли и вод,
он в любви своей будет хранить всегда
каждый отвоёванный нами дот,
все мосты, долины, высоты и города.

И покуда дети родиться будут от нас,
и покуда будут тянуться к его лучу,
за любую из пристрелянных этих трасс
будет кому подниматься плечом к плечу.

И покуда с нами духи и мертвецы,
ни один нас не сдержит Спаситель или Аллах.
Всё проходит, сестрёнка, останутся лишь рубцы
от шрапнели и пуль на чёрных наших телах.

Пусть твой малый узнает, как мести наука тяжка,
пусть растёт и мужает в кочующей нашей толпе.
Командир наклонился и вытащил из вещмешка
и пристроил в изножье заводской побитый ТТ.

И тогда мы все, кто стоял у него за спиной,
положили свои амулеты, ножи и пруты,
кто-то даже наваху достал с рукоятью резной
и назад отступил, чтоб другие могли подойти.

Там уже лежали золото и фарфор,
серебро, ковры и груды тёплых вещей,
и глядели окна в чёрный полночный двор,
и дымы поднимались в небо из сельских печей.

И одна из женщин шла с фонарём в руке,
словно ведьма несёт луну, ну а вслед за ней
пастухи и солдаты вышли в путь налегке,
и под их ногами не расступался снег.

Мария Галина



Третий день сквозь жирную муть.
Третий день без отдыха путь.
Я дрожал от холода, спал на песке,
вино и чеснок берёг в рюкзаке.
А под тряпье в потайной карман
упрятал афганский дурман.

Я тридцать дней таился во мгле,
ел траву, спал на земле,
собирая, как непосильную дань,
по крохам дорогущую дрянь,
которая тенью пропащих душ
лежит на хребте Гиндукуш.

*А смерть наблюдает мои следы,
смерть доводит меня до воды
и, пока я из русла мёрзлого пью,
держит флягу мою.*

Я всё унёс, что смог унести,
талибские обошёл посты,
пробрался в город, загнал телефон,
перешёл таджикский кордон,
и встал предо мной, по плану точь-в-точь,
Ростов на пятую ночь.

Там погранцам не снится покой,
солнце в траве, туман над рекой,
долгий день, разноцветный базар.
Лишь бы домой довести товар
и скинуть, выгорит ли — хз,
цыганам с ХТЗ.

*Но смерть проверяет, кто там идёт.
Смерть поддерживает меня и ведёт.*

*Поднимает голову в рассветный час
с моего плеча.*

...Тихое утро, тёмный вагон.
То был последний мой перегон.
Вся дорога сюда вела.
Кровавый след собака взяла,
и тяжело, как сом в глубине,
пуля сидит во мне.

Дыши, пока дышать повезло.
Пока ты дышишь, тебе тепло.
Легко себя ощутить живым,
когда вдохнёшь раскалённый дым,
а выдохнешь сладкую тоску
и щёлкнешь по бычку.

Кровь, подтекая, щекочет смешно.
Никто не ждал меня всё равно.
Замок на границе ещё прочней.
И всё неусыпней, что делать с ней,
моя душа как чужое шмотьё
караулит тело моё.

Дмитрий Кузьмин



Дышит ночи тёплый зверинец —
животные спят, спят птичьи стаи.
Чистит оружие молодой пехотинец,
чистит оружие, время убивая.

Чистит его, бормоча проклятья,
тяжкие, словно буквы в телеграмме.
Греет на сердце своём распятыё,
подобранное в православном храме.

Слышит дождя пересуды досужие,
слышит, что ветер смиряет удаль.
Не выпускает из рук оружие,
чистит его, как церковную утварь.

Верит — как только дойдёт до дела,
не подведёт его эта сила,
где-то в душе, в закоулках тела,
разбудит удачу, чтоб та прикрыла.

Что-то тихо шепчет звезда-пророчица,
не сходя с пути своего заветного.
В такую ночь до того жить хочется,
что умереть можно просто от этого.

Видит он жизнь в каждом предмете,
в каждой сосне и её изгибе,
и делает всё, чтоб избегнуть смерти,
чтоб отвести от себя погибель.

Чисти, чисти, готовься всерьёз
к тому, что тебя ожидает сегодня.
Смерть ни на шаг от него, как пёс.
Чудны дела,
чудны, господни.

Игорь Белов



Судьба всегда благосклонна к тем,
кто свято верит в её таланты.
Бои откатываются, а затем
в город являются маркитанты.

Нагрузившись лекарствами и вином,
миновав оцепления и кордоны,
по рельсам бредут они, под мостом,
заходят в спальники и промзоны.

Богатства свои с проворностью пчёл
они раскладывают на перекрестках.
Ещё один год без посева прошёл,
птицы сидят на руинах школ,
и свистом их прогоняют подростки.

Болтает стража на блокпостах,
ветер треплет редкие транспаранты,
детский почерк живёт в тетрадных листках,
и сферы влияния в наших местах
делят праведники и спекулянты.

Солнце всё длит свою круговерть,
и торговля знакома вам, как зевота,
но, пока мы платим за нашу смерть,
у вас по-прежнему будет работа.

Никто не прикроет вас — ну, так что ж,
радуйтесь щедрому медосбору:
пока свою жизнь мы не ставим в грош,
дела ваши будут идти лишь в гору.

Небу границы его тесны.
Сплавьте остатки хлеба и водки,
продайте пехоте несвежей жратвы.

Те, кого нынче повесить должны,
говорят в темноте перед сном коротким:

запомни навеки любого из нас,
запомни время, лишённое совести,
запомни полночь и смертный час,
запомни эти сплетни и новости,

запомни подверженный чудесам
мир, что пускает в нас свои корни.
Никакой печали. Никаких драм.
Просто запомни. Просто запомни.

Игорь Белов



Второй год подряд город косит чума.
Закрты бордели и даже тюрьма.
Кончился хлеб, высох водопровод.
Из культурных событий — лишь крестный ход.
Мы идём, призываем святых отцов,
подбирая на обратном пути мертвецов.

Папское имя вызывает рвоту.
Ведьмы бросают свою работу.
Зачем обманывать честный люд?
К чему ворожить? Все и так помрут.
Созвездия пахнут железом и кровью.
Средневековые такие Средневековые.

И тогда епископ приходит в еврейский квартал,
говорит: «Кто из вас не гибнет тут за металл?
Всех нас погубит небесный террор,
всех нас вынесут в чёрный коридор.
Ни света, ни цели. Топор да плеть.
Самое время колядки петь».

И вот раздаётся барабанный бой,
и увлекает он за собой
блядей и торговцев, считающих медь.
Того, кто мёртв, не пугает смерть.
Не пугает ни одна из её гримас.
Бояться здесь нужно разве что нас.

И мы надеваем перья и хвосты,
смазываем кровью нательные кресты,
и жжём на улице своего сатану,
и объявляем небу войну,
и водим хороводы, друг друга согрев.
Всё, что у нас есть, — это народный гнев.

Мы на щёки кладём пудру и грим.
Никогда не поздно умереть молодым.
Никогда не поздно имя сменить.
Моя тень за меня будет прясть эту нить.
Никому не рассказывай таких небылиц,
чтобы смерть не запомнила наших лиц.

Жизнь, будто спички, сжигает нас,
расходует, словно боезапас,
вырывает нас, точно нож из плеча,
и мы дичаем, как алыча,
остаёмся и кличем своим богов.
Для мёртвых у нас многовато долгов.

Остаёмся все вместе — мёртвый с живым.
Мы по горло в высокой траве стоим
и на берегу ночной реки
зажигаем старые маяки.
На огни саранча прилетает одна.
Ночь глубока. И не видно дна.

Игорь Белов



Загадочные святые однажды в город пришли.
Молились камням, ложились спать на коврах.
Связь с господом баракхлит, операторы — на мели,
так что рисуй кресты на нужных тебе домах.

За ними явились военные, сожгли почту и телеграф,
начали резать безбожников и мирян.
И тогда Иона, объяснительную написав,
собрал вещи и двинул за океан.

В Испании, думал он, на перевалах лежат снега,
и дети на пляжах пасут золотых медуз,
там есть работа, а память не так строга,
там ветер скрывается в складках рыбацких блуз.

А здесь, с ассирийцами этими, среди снарядов шальных,
просто некуда спрятаться от огня,
и какое им, ассирийцам, дело до откровений моих,
смешно даже думать, что кто-то послушается меня.

И вместе с другими в резиновой лодке плывёт он, лишившись сна,
у моря нет берегов, у моря нет даже дна,
он снимает с пальца кольцо, заплатив перевозчику за труды,
и на трое суток распределяет запасы курева и воды.

Но в открытом море их останавливает патруль,
и Ионе дырявят лёгкое несколько метких пуль,
и пока он идёт на дно, которого нет, в красной от крови воде,
ему даёт руку господь,
который всё это время был неизвестно где.

Я на сушу тебя выплуну, как наживку выплёвывает предводитель рыб.
Я вдохну в тебя жизнь, словно эхо в ночную тьму.
Я верну тебе голос, если начисто ты охрип.
Живи там, где ты должен жить, и не спрашивай, почему.

Если даже вы и прорвётесь, минуя оцеплений круговорот,
если потеряетесь в чужих городах,
вы не сможете быть счастливыми там, где никто вас не ждёт.
Изгнание всегда оборачивается молчанием на устах.

Я знаю, что ты не хочешь жить там, где живёт беда,
среди пожаров и обстрелов с соседних крыш.
Легко от меня сбежать, а от себя не убежишь никуда.
Да и от меня, если честно, тоже не убежишь.

И тогда Иона сушит вещи, идёт назад.
Прибирает дом и глядит в окно на заросший фруктовый сад.
Яблоки падают и среди травы тихо лежат в тоске,
не живые, не мёртвые, точно рыбы на мокром песке.
И если их не собрать — погибнут, не обессудь.
И роса на их коже выступит, будто ртуть.
Господь сам себе оружие и защиты густая сень.
А за деревьями нужно присматривать каждый день.

Игорь Белов



Всегда возвращаться на эти холмы и реки цвѣта черники,
где мытари и охранники у ворот городских стоят.
У евангелистов в церквях здесь такие тѣмные лики,
словно целыми днями на солнце собирают они виноград.

Мужчины здесь носят на себе столько жѣлтого золота,
что смерти уже тяжело их забирать с собой.
А женщин ночная тоска грызѣт, одурев от голода,
и они подводят глаза краскою голубой.

И таким опасным ремѣслам учатся здешние дети,
что становятся безработными, пьющими во дворах.
С радостью на войну уходят подростки эти,
и тела погибших героев тонут в живых цветах.

Тяжѣлые фуры с Юга привозят в город заразу.
Подсчитывают убытки нищие у пруда.
И всё, что мне остаѣтся, целую жизнь, раз за разом,
обо всех вспоминая, всегда возвращаться сюда.

Говорить себе:
вот и осень, и год на девятом месяце.
Вот пылятся знамѣна деревьев, листьями прозвеня.
Вот её тѣмный дом, вот её окна светятся.
Может быть, она ждѣт.
Может быть, даже меня.

Игорь Белов



Ей пятнадцать, и она у вокзала торгует цветами.
За шахтами воздух густой от жары, и ягодный запах.
Поезда, замерев на миг, уплывают, вильнув хвостами.
Военные движутся на Восток, военные едут на Запад.

Никто не сойдёт в этом городе — много чести.
Никто не хочет её захватить с собою.
И в ней весь день, пока она топчется на рабочем месте,
бродит мысль о том, что и эта земля может быть желанной и дорогойю.

Что от неё, выходит, и отлучиться страшно,
что за неё, выходит, зубами цепляться надо,
что для любви нужны лишь старый вокзал да водонапорная башня,
и пустота вокруг, насколько хватает взгляда.

Никто ей не объясняет, в чём тут причина.
Никто не приносит цветы на могилу её старшего брата.
Сквозь сон слышно, как в темноте вытягивается и крепнет отчизна,
словно позвоночник у подростка из интерната.

Крепнут свет и тьма, чередуясь, смыкаясь, зрея.
Вслед за летней жарой мороз плывёт по равнине.
Всё, что с ними со всеми сейчас происходит, — и есть время.
Нужно только понять, что оно происходит именно с ними.

Крепнет память её, крепнет вера её и утеха.
В этом городе родились все, кого она знает.
Засыпая, она вспоминает каждого, кто отсюда уехал.
Когда вспоминать больше некого, она засыпает.

Дмитрий Кузьмин

ВЗРЫВЧАТКА ПУСКАЕТ КОРНИ



Рыба волшебная в этом озере: сколько ни ловим её,
сколько ни добываем — а не убывает.
Сколько ни гоним её с насиженных мест, во всю дурь
выжигая темень кострами, вытравливая в самые
угрожаемые затоки, — возвращается. Сколько ни рвём
из рук у неё детей и домашний скарб — живёт себе дальше.
Поёт при полной луне.
Влюбляется под летним дождём.
Похожа на нашу смерть —
так же нетороплива,
так же неотступна,
молчалива,
жестока.

Рыбаки на этом озере отлучиться не смеют за хлебом
или сыром — всё ждут улова, всё вглядываются в кристалл
воды: не мелькнёт ли невесомая тень, не дрогнет ли
песок под чёрной сталью плавников.
Тень убийцы так тяжела, никакая вода
не выдержит её бремени. Солнце скачет у них
за плечами, как белка в городском парке.
Стоят, словно смерть:
так же безгласны,
так же настойчивы,
самоуверенны
и нежны.

Озеро круглое.
Озеро глубоководное.
Дна не достать.
Не выпрыгнуть за пределы.
Лишь задеваешь сочленения льда.
Держишься берегов.
Меж которыми всё.
Меж которыми нет ничего.

Дмитрий Кузьмин

Пиноккио

Она сказала:

— Дай сюда руку.

Вот тут, смотри. Те участки, где кожа неповреждённая, сохраняют всю положительную информацию.

А всё говно, которое ты выжрал за жизнь, откладывается в шрамах.

Чем больше говна — тем глубже шрамы.

— И чем глубже шрамы, — сказал я, — тем больше было говна.

— Точно, — сказала она, — всё в шрамах, все сумерки мира.

В детстве в тебе

откладывается ненависть.

Ненависть — это как способность ездить на велосипеде:

она появляется, даже если

у тебя нет велосипеда.

Человек честнее всего именно в детстве,

когда, попав в капкан, перегрызает

блестящими брекетами собственную лапу,

чтобы не опоздать

на вечерние мультфильмы.

В соседней комнате её сын

добивал свои игрушки.

— Давай, малыш, — позвала

она, — пошли есть.

Сейчас, мама, — ответил

малыш. — Я только

не могу решить, кого из них оставить в живых:

того, кто слева, или того, кто справа.

Никого, — сказала ему мама

жёстко. — Мой руки и пошли есть.

Хорошо, — ответил малыш

и помчался мыть руки,
оставив всех троих
умирать
под палящим солнцем.

Игорь Сид



И самая маленькая девочка в Чайна-тауне,
и старые баптисты в холодных церквях Манхэттена,
даже не представляют, какие звёзды
падают в наши каминны
и какие изумрудные стрелы чеснока
растут на наших футбольных полях.

Ибо вот — океан без конца и без края
заливает берег, на котором стоят китайские рестораны,
и тысячи кашалотов скрываются в нём
за песком и молотом,
навек отделяя меня от страны,
которую я любил.

Ибо вот — чёрные деревья в холодных снегах,
как африканки на простынях белоснежных,
и на каждом дереве сидят птицы,
крикливые птицы эмиграции,
певчие птицы изгнания.

Ибо вот — я
каждую ночь
во сне
нагружаю свой пароход звёздами и пшеницей,
наполняю трюмы ромом и цикуттой,
прогреваю старые машины,
как топят кафельные печи.

Уже совсем скоро Господь позовёт нас всех,
повернёт океанские течения, погонит нас во тьму.
Рыдай обо мне тогда,
сладкая морская капуста Америки,
как умеешь лишь ты одна,
как умеешь лишь ты одна.

Борис Херсонский

Минздрав

Из окна больницы было видно яблони,
которые в это лето прогибались под тяжёлыми
дождями, так что трава запутывалась в самых нижних
ветках.

По утрам двор был пустой,
знаете, есть летом несколько таких дней, они
не то чтобы самые длинные, а скорее — самые размытые.
Потом, конечно, всё это исчезает,
потом вообще начинается осень.
Но в те дни, часов в семь, в светлом
небе видно было звёзды,
которые темнели и гасли.

Женщины были похожи на чеченских снайперш —
как у чеченских снайперш, у них
были исколотые анестетиками вены
и недобрые взгляды.

А мужчины были похожи на просветителей Кирилла и
Мефодия — как просветители Кирилл и
Мефодий, они были в длинных халатах
и держали в руках истории болезни,
похожие на первые переводные Евангелия.

Утром, когда она выходили в сад и
курили, звёзды постепенно исчезали,
и шелестела трава.

«Блаженно имя господне, — говорил
Кирилл. — Блаженны длани его,
из коих обретаем мы хлеб наш насущный».
«Сестра сучара, — переводил Мефодий
на кириллицу. — Снова зажилила морфий.
Маляву надо писать, а то без понта».
И снайперши склонялись к их ногам,
омывая стопы дождевой водой.

Есть невыразимая стойкость в мужчинах,
выходящих на больничные дворы, —
всю жизнь работать на свою страну
и получить в конце концов от неё
холодный серый халат:
из твоих рук, родина, смерть хоть
и горька, зато желанна,
будто хлеб в войну.

Иногда выходили сёстры-плакальщицы
и просили самых крепких из них
вынести очередной труп.
Тогда мужчины шли,
а женщины держали в пальцах
их сигареты,
которые темнели,
темнели
и постепенно
гасли.

Игорь Сид

Виолончелист

Тащит виолончелист
свой деревянный инструмент,
останавливается,
переводит дыхание.
едва держится в воздухе,
едва волочит ноги
по каменной улице.
А вот как кричат ему
прямо в лицо,
вот как гневно сопровождают,
наседают со всех сторон,
сыплют проклятия.

*Сходятся мужчины,
угрюмо стоят женщины,
дети бросают золотые
апельсины
брусчатки.*

Столько злых слов
он и не слышал за всю свою жизнь.
Будто бы он виноват,
что должен тащить этот
чёртов инструмент,
будто виноват, что
не может бросить его
посреди улицы.
Но кому и что ты докажешь,
кому объяснишь?

Воздух разрывают крики,
разламывает лай.
Скоро проступит кровь,
скоро прольются слёзы.

*Хмурятся мужчины,
галдят женщины,
дети запомнят это небо
до конца своих
долгих дней.*

А уже когда выбираются
за город, останавливаются
на холме, он ставит
инструмент на землю,
достаёт смычок,
припадает к лакированному дереву,
висит на нём,
не в силах оторваться,
и движения его так тяжелы,
и на пробитых ладонях
запекается кровь.
Тогда

*плачут мужчины,
вянут женские сердца,
и у детей
в стиснутых кулаках
растут жемчужины
музыкального слуха.*

Станислав Бельский

Военкомат

Мама говорит: сходи в военкомат,
поговори с начальником.
Может, возьмут тебя в армию.
Армия сделает из тебя человека.
Сколько можно: бабы, наркотики,
все эти ваши молодёжные барбитураты, в конце-то концов!
Давай, малой, — сходи в военкомат.

Но я ей говорю, — ма, ну шо за дела,
какой военкомат? Мы давно ни с кем не воюем,
мы — внеблоковая страна.
Ты видела нашего министра обороны? Вот у нас
вся оборона такая. У нас оборона хуже, чем оборона
«Челси». Короче, ма, я пас, я не пойду.

Но мама говорит: малой, я уже старая, вот я умру,
и кто о тебе, уроде, позаботится?
А армия сделает из тебя человека.
Посмотри, малой: дом без ремонта стоит,
ты, сука, весь клей вынюхал,
обои нечем приклеить. Давай, малой,
сходи в военкомат.

Ну, почему, — говорит она, — ты не хочешь пойти?
Почему не поговоришь с их начальником?
Ну, как почему, — говорю я, — ну, ма, ну как почему?
Как это почему?
Да потому, что я дебил!
Ты понимаешь — дебил!
А дебилов в армию не берут!
Даже в нашу, украинскую!

Что бы я делал, если бы вдруг стал сапёром?
Я бы выкапывал противопехотные мины,
прятал бы их под кровать

и слушал ночью,
как взрывчатка
пускает свои корни,
словно
картошка.

Игорь Сид

Праздник, который всегда с тобой

Мы о нём уже успели забыть,
и тут вдруг он умер.
Родня решила оповестить коллег.
Оповестили нас.
А мы, ну что мы, как мы обычно
ведём себя на поминках?

Кто-то из нас удивился, что он умер.
Кто-то удивился, что он умер только сейчас.
В детстве мы читали его книжки,
может, поэтому и выросли такими злыми.

На поминках все говорили о литературе
и читали свои стихи.
Кто-то побежал за шампанским для женщин.
Кто-то попробовал подкатить к вдове,
спрашивал, есть ли у неё пареньь.
Кто-то избил молодого поэта,
автора патриотических сонетов.

Тот лежал на полу,
залитый шампанским и слезами вдовы,
а над ним свирепо нависали коллеги по цеху
и требовали, чтобы он поднялся и продолжал
драку, поскольку лежащих они
не бьют.

И рядом с ним лежали истоптанные
листки с сонетами
и обронённая старейшим из поэтов
вставная челюсть: потерял, добиваясь,
чтобы молодой поднялся
и продолжал драку.

И пока вдова не вызвала наконец
наряд, они били посуду и печатную

машинку покойника,
читали стихи
и говорили о литературе.

Поэзия — вот последний плацдарм для несломленных,
достойная отповедь всеобщему безверью.
Поэты держатся вместе, как матросы одного крейсера.
И когда крейсер безнадёжно идёт на дно,
поэты подставляют лица ветру и запевают
гимн братству и верности
высокими чистыми голосами.
Лишь кто-то один всю дорогу, с первой же ноты,
постоянно шамкает
вставной челюстью.

Дмитрий Кузьмин

Евтушенко

Вот так за всей этой беготнёй
сколько глупостей приходится
делать, кто бы подумал.

С утра звонит знакомый,
говорит: брат, выручай,
срочно нужен материал.
Ну, и вместо того, чтобы возвращать
себе человеческий облик,
ты должен теперь
защищать друзей от бытовых
неурядиц.

Что это? — спросил он. Материал, —
говорю, — памяти Евтушенко.
А что — уже? — спросил он.
Да, — говорю, — я вчера где-то
в кафе услышал. Или на вокзале,
когда догонялись. Знаешь, там
есть круглосуточный?
Знаю, — ответил он. — Эх,
блядь: а я только на днях его выступление
слушал по радио. Про интеллигенцию.
Или про демократию. Наверно, всё-таки
про демократию, — подумав,
сказал я. Да, — согласился он, —
про демократию.

Знаешь, — сказал он, помолчав, —
я иногда думаю, что на самом деле демократия —
это большая куча говна, вся-вся
демократия, согласись.

Был поздний вечер, мы уже стояли
на вокзале, у круглосуточного,
и я не знал, что ему возразить.

На следующее утро он снова
позвонил. Ну, вот что, —
сказал озабоченно, — тут такая
беда: он, оказывается, ещё живой,
хорошо, что я с утра проверил, а то попали бы
мы с твоим материалом.

Ну, слава богу, — говорю, — кто бы
мог подумать. Что «слава богу»? —
раскричался знакомый. — Что «слава богу»?!
У нас дырка в полосе, пришлось
давать два кроссворда. А мы не газета
кроссвордов, понимаешь:

мы
не газета
кроссвордов!!!

Хорошо, — говорю, уже когда он
успокоился, — так что: материал
забрать?

Материал? — задумался он. —
Нет, материал пусть останется у нас:
сколько ещё там ему осталось,
а материал вышел
хороший, короткий,
а главное —
честный.

Сразу видно,
любил ты
покойного.

Игорь Сид

Велосипеды

Велосипедный завод Лейтнера был эвакуирован из Риги в Харьков в 1915 году, когда возникла угроза сдачи города немцам. Потом, после гражданской, на его базе был создан Харьковский велосипедный, который и штамповал свои машины с удивительными хромированными деталями.

Уже в начале двадцатых при заводских мастерских была организована футбольная команда, которой покровительствовали братья Межлауки — грозные красные комиссары, родившиеся в Харькове, выращенные террором и им же таки впоследствии затоптанные в чёрный снег тридцатых.

К чему я всё это вспоминаю?
Всё, что строится на руинах, всё, что начинается с нуля, пустота, которая в руках слесарей и механиков превращается в станки и машины, всё это вложено в нашу жизнь, словно вера в тексты псалмов.

Рабочие, которые выходили утром на смену и выбегали вечером на твёрдую, выжженную почву стадионов, играли солнцами и тенями, разламывали время, будто горячий хлеб, зная, что всё в этой жизни начинается впервые и будущее создается, как правило, в цехах и на футбольных площадках.

«Мы всё начнём заново, — говорили они, вступая в мартовскую прогорклость пустого цеха. — До нас не было ничего, о чём мы бы не знали. Этот мир начинается с утренних паровозных гудков. Ход истории совпадает с восьмичасовым

рабочим днём. Все наши победы начинаются
с вытопанных газонов. Никто не отберёт у
нас эту странную пророческую уверенность,
эту умопомрачительную ярость,
с которой мы встречаем наших соперников».

Океаны и подводные растения, наросты серебра на чёрной породе,
твёрдость деревьев и волокна внутри камыша —
всё только начинается, едва они выбегают
из раздевалки. И солнце останавливается в тёмных тоннелях
трибун, и тени наркомов стоят за спиной, словно тени архангелов.
Революция всегда оставляет шанс тем,
кто готов вцепиться в него зубами,
вспарывая прогнившую обшивку этого механического мира,
выгрызая горячую сердцевину старой истории,
ничего не ожидая для себя в будущем,
ничего не оставляя после себя в прошлом.

Игорь Белов



Ибо всё зависит только от нас.

Касаешься воздушной оболочки, смещаешь равновесие.
Всё, что мы потеряли, всё, что нашли,
всякий воздух, прокачанный через волынку лёгких, —
какой в этом смысл без нашей боли и разочарования?
Чего это стоит без нашей радости?

Ибо всё это прямо под твоими пальцами.
Касаешься её одежды и знаешь: ты ничего
не сможешь вернуть назад, произнесённое имя
переиначивает голоса, переплетает корни слов,
вот и бейся теперь над мёртвыми языками,
вот и надейся с их помощью
объясниться с живыми.

Касаешься её речей и понимаешь: за каждым словом,
за каждым поступком стоит невозможность вернуться.
Нами движут отвага и грусть —
невозвратимость любви и невнятность почти всех
тёмных пророчеств и предсказаний.
С нами случается лишь то, чего мы желали,
или то, чего мы боялись. Вопрос только в том,
что перевесит — желание или страх.

Ночь будет звенеть музыкой в перепонках
наших пальцев, комната наполнится светом
принесённых с собой словарей.
Ибо главное — это умение говорить
на мёртвом языке нежности.

Свет состоит из тьмы
и зависит только от нас.

Андрей Щетников

**ПОЧЕМУ МЕНЯ НЕТ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ**

Иголка

Антон, тридцать два года,
в статусе было сказано, что живёт с родителями.
Православный, хотя в церковь не ходит,
закончил университет, иностранный язык — английский.
Работал татуировщиком, имел свой почерк,
если можно так выразиться.
Через его искусные руки и острую иглолку
прошла целая толпа местных.

Когда всё началось, много говорил про
политику и историю, стал ходить на митинги,
перессорился с друзьями.
Друзья обижались, клиенты исчезали.
Боялись, не понимали, уезжали из города.

*Лучше всего узнаёшь человека, дотрагиваясь иглой.
Иголка жалит, иглолка шивает. Под тёплым
металлом такое податливое полотно женской
кожи и такой жёсткий светлый брезент
кожи мужской. Протыкаешь чью-то
оболочку, выпускаешь из тела рубиновые
капли крови, бьёшь, бьёшь, выбиваешь
ангельские крыла на покорной поверхности мира.
Бей, бей, татуировщик, поскольку мы призваны
наполнять этот мир смыслом, наполнять его
красками, бей, татуировщик, в эту
обшивку, под которой наши души и хвори —
то, чем живём, ради чего умираем.*

Кто-то рассказал, что его подстрелили на блокпосту.
Поутру, с оружием в руках, вроде как внезапно —
никто ничего не успел понять.
Схоронили в общей могиле — их там всех хоронили так.
Личные вещи передали родителям.
Статус так никто и не исправил.

Придёт время, и какая-нибудь сволочь
неприменно напишет про это героические стихи.
Придёт время, и какая-нибудь сволочь
скажет, что про это вообще нельзя писать.

Полина Барскова при участии Остапа Киня

Поисковик

Долго её разыскивал. Номер она поменяла,
из города уехала. Социальными сетями
не пользовалась. Через знакомых найти
не удавалось, через церковь тоже.
А потом сама написала: про дела,
про переезд, про новое место, про привыкание.

Рассказала о брате, думаю, ради этого и писала —
чтоб рассказать о брате и о его смерти.
Видно, обращалась с этим не ко мне одному, по крайней
мере — не ко мне первому. Уж больно
спокойно писала. Их накрыли, писала, всех
вместе, одним залпом. Потом наши вернулись
забрать погибших. Вернее, то, что от них
осталось. Тяжелее всего с ногами. У каждого
должно быть по две ноги. Их так и складывали —
чтоб у каждого две ноги, желательно —
одного размера.

Брат занимался музыкой. Обзавёлся хорошей гитарой.
Вечно её у него кто-то брал.
Вот что с ней делать теперь? — она спрашивала. —
Я взяла, попробовала играть, порезала пальцы с непривычки.
Было очень больно. Всё никак не заживёт.

Дмитрий Кузьмин

Секта

Андрей и Павел, адвентисты, студенты.
Отец-предприниматель поддерживал общину,
они привыкли считать церковь
частью своей жизни:
бывали там каждый день, помогали
с ремонтом, выкладывали фото в соцсети,
благодарили за поддержку.

Их и в мирное время считали сектантами,
а уж когда всё началось — просто устроили
на них охоту. Кто-то уехал, кто-то спрятался.
А их обоих поймали. Держали в подвале,
заставляли хоронить погибших, копать могилы.
Они хотели откупиться, боялись, плакали.
Их перевели в другую яму. Потом про них просто
забыли, будто их и не существовало.
Сидели в чёрном подвале, слушали тьму,
сначала молились, потом бросили —
стыдились друг друга.

*Веру как раз тогда и теряешь, когда возникает
возможность за неё умереть, а ты этой
возможностью не успеваешь воспользоваться.
Зачем вера тому, кто видел, как всё выглядит в самом деле?
Зачем верить в то, что для тебя не имеет
никакого значения?*

*Никто не рассказывает, что было со святыми, на чьих
телах открывались стигматы. Что было с этими
стигматами? Они сами собой закрывались,
как розы под вечер? Долго ли кровоточили,
гноились, болели под бинтами?*

*Мужчины с глазами, ослепшими в темноте,
приходили в госпиталь на перевязку,
стискивали зубы, когда сестра отрывала им
от раны засохшие бинты, и свежая кровь*

*выступала на тёмной коже. Просили
обезболивающего, хоть какого-нибудь.
Но не бывает никакого обезболивающего
от того, что у них болит, просто не бывает.*

Полина Барскова при участии Остапа Киня

Чеченка

Юра,
уже за сорок,
историк по образованию.
Сидит в сети,
отслеживает рваные шаги истории.
Пишет блог от имени чеченки,
придумал себе такую девушку-снайпера,
живёт теперь её жизнью.

Пишет про её веру,
пишет про её сомнения,
пишет про её чувствительность,
делает зарубки на её прикладе:

вот это враг-отец,
вот это враг-сын,
вот это — дух святой, тоже враг,
сто́ит и его тоже
помянуть в сводном
расстрельном списке,
по которому заказывает молитвы
невидимая девушка-снайпер.

Мир — почтовый мешок,
зашитый колючей проволокой.
Порвёшь — и полезут из
детских сорочек и рушников
чёрные жабы с ужами.

Нам никогда не узнать,
кто там стоял в распалённой толпе,
готовой рвать нежную ткань
чужого тела.
Нам никогда не узнать,
кого не было в этой толпе.

*Вести тебя
ночными дорогами
между травами и углём,
делать неслышными
твои шаги в лёгких
профессиональных кроссовках,
выводить к источникам
в обход утопанных
коровьих троп,
оставлять тебе на утро хлеб,
завёрнутый во вражеский
флаг.*

Поутру он
перечитывает написанное.
Что-то добавляет.
Что-то правит.
Бреется, режет кожу
старым станком.

Но крови нет.
Совсем нет.
И смерти тоже нет.

Полина Барскова при участии Остапа Киня

Псих

Города жалко, — говорит он. — Истребят его.
И добавляет: Как Содом и Гоморру.

Брат его в интернате для психически больных.
Несколько дней назад интернат захватили.
Миномёты поставили во дворе.

Он навещает брата. Сидят на лавочке, под яблоневой веткой. Похожи внешне — оба в спортивных костюмах, оба коротко стрижены. Только у одного в руках мобильник. Хотя связи в городе всё равно нет.

Автоматчики не обращают на них внимания.
И они на них тоже.

В детстве он брата стыдился, никогда не упоминал про него, никогда не брал с собою. Знаешь, каково это — когда в семье псих? Папа нормальный, мама нормальная, ты тоже нормальный, но есть один псих. Настоящий псих. В твоей семье. А значит, и на тебя падает подозрение.

Подросши, просто перестал обращать на брата внимание. Будто его и нет. Так бывает, когда идёшь по улице и боковым зрением замечаешь что-то противное, ужасное, отвратительное — например, разорванный труп животного, но знаешь — если туда не смотреть, то вроде и нет ничего, всё вроде в порядке.

Вот так и теперь: сидят вместе, молчат, никто не обращает внимани. Их будто и нет. Мало ли тут осталось —

тех, кто так не выбрался,
тех, кто лежит на обочине,
как разорванный труп животного.

Начальство интерната давно разбежалось.
За больными присматривают несколько уборщиц.
Старые женщины, тут проработавшие
всю свою жизнь. Шесть или семь старух.
Для города-миллионника не так уж и мало.

Дмитрий Кузьмин

Мародёр

Плохая биография,
из таких биографий делаются утренние новости.
Его старик замёрз в декабре в пустом трамвае.
У мамы проблемы с сахаром.
Незаконченное техническое, два года на учёте.
Спалённое йодом горло,
разорванное арматурой ухо.

О чём ты мечтал все эти годы?
Чего хотел?

Всё, чего он хотел, лежало
в ближайшем торговом центре.
Взломать его было словно взломать
печати на папских грамотах.

«У меня никогда, — писал он, — не бывало
столько денег, чтобы купить
всё, что мне хочется. Всегда что-то
откладывал до лучших времён.
Лишь теперь понял, что лучших
времён не будет.

Ты тоже родился здесь.
Ты знаешь, как оно всё.
Повторяй вслед за мной:
жизнь — жестокая и несправедливая,
жизнь — безнадежная и короткая,
жизнь — безрадостная и подлая.
Кто ничего не имеет,
ничего и не будет иметь.
Кому нечего терять,
ничего и не потеряет».

*Тут давно никто не ожидает лучших времён.
Тихую, молчаливую смерть тут никто*

*не отличает от прочих женщин.
Доброе сердце, большие лёгкие:
живёшь с нею, потому что любишь,
помираешь потому, что живёшь с нею.*

«Спасибо, что пишешь, — благодарит он, —
спасибо, что пишешь».

«Не за что», — отвечаю я.

И в самом деле — не за что.

Полина Барскова при участии Остапа Киня

Носорог

Полгода она держится.
Полгода разглядывает смерть,
как носорога в зоопарке:
тёмные складки,
тяжёлое дыхание.
Боится, но не отводит взгляда,
не закрывает глаз.

Страшно, очень страшно.
Так и должно быть.
Смерть страшна, она пугает.
Страшно чують смрад красной луны,
страшно смотреть, как вершится история.

Полгода назад всё было совсем по-другому.
Полгода назад все были другими.
Никого не пугали звёзды,
падавшие в водохранилища.
Никого не настораживал дым,
поднимавшийся из разломов чёрного грунта.

Посреди ночной улицы,
посреди огня и грохота,
посреди любви и смерти
она утыкается лицом ему в плечо,
она отчаянно лупит его кулаками,
плачет, вскрикивает в темноте.
Я не хочу, говорит, всё это видеть,
я не могу всё это в себе носить.
На что мне столько смерти?
Куда мне её девать?

А куда денешь смерть?
Носи её за спиной,
как дитя цыганское:

никто не любит его,
и оно никого не любит.
Любви так мало,
любовь такая беззащитная.

Плачь, разбивая темноту своими тёплыми руками.
Плачь и не отходи от него ни на шаг.
Мир никогда не будет таким, как прежде.
Мы ни за что не позволим ему
быть таким, как прежде.

Всё меньше светится окон на стылой улице.
Всё меньше беспечных прохожих
у магазинных витрин.
В адовой осенней тьме холодеют поля и реки.
Гаснут костры под дождём.
Замерзают в ночи города.

Дмитрий Кузьмин

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ НАЧАЛА СТОЛЕТИЯ

История культуры начала столетия	4
Продажные поэты 60-х	6
Уборщицы коридоров	8
Младший школьный возраст	9
Жить значит умереть	11
Некоммерческое кино	13
Детская железная дорога	15
Продавец подержанных автомобилей	17

УССР

история начинается... ..	20
Тяжёлым каменным углем в лесных корнях... ..	21
Пушеры	22
Словари на службе церкви	23
Паприка	25
Мормоны	27
Коллаборационисты	28
Контрабанда	30

УКРАИНСКИЕ СВАДЕБНЫЕ И РЕКРУТСКИЕ ПЕСНИ

Big Gangsta Party	32
Украина для украинцев	35
Лукойл	38
Михаил Светлов	41
Прощание славянки	44
Трамадол	47
Госпелс и спиричуэлс	49
Грибы Донбасса	52

ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО ЭТОЙ ЗИМОЙ

Лучшее, что было этой зимой... ..	56
Летом она ходит по комнатам... ..	58
Если б я был почтальоном... ..	59
Город, в котором она укрылась... ..	61
Святой Франциск воздвиг этот город для серферов и героев... ..	63
И тогда она говорит... ..	65

РАСТЁТ ТРАВА

Тот, кто болтает про смертный час... ..	68
Темень и сладость зимней поры... ..	70
Август уходит из тёплых кварталов... ..	71
Полевые командиры... ..	73
Возьми лишь самое нужное. Письма — да... ..	74
Каменщики утром приступают к работе... ..	75
Снега проходят, им не век лежать... ..	76
Наши дети, Мария, растут, как будто трава... ..	78
Мы приехали к ночи, пересекая тьму... ..	80
Третий день сквозь жирную муть... ..	82
Дышит ночи тёплый зверинец... ..	84
Судьба всегда благосклонна к тем... ..	85
Второй год подряд город косит чума... ..	87
Загадочные святые однажды в город пришли... ..	89
Всегда возвращаться на эти холмы и реки цвѣта черники... ..	91
Ей пятнадцать, и она у вокзала торгует цветами... ..	92

ВЗРЫВЧАТКА ПУСКАЕТ КОРНИ

Рыба волшебная в этом озере... ..	94
Пиноккио	95
И самая маленькая девочка в Чайна-тауне... ..	97
Минздрав	98
Виолончелист	100
Военкомат	102

Праздник, который всегда с тобой	104
Евтушенко	106
Велосипеды	108
Ибо всё зависит только от нас... ..	110

ПОЧЕМУ МЕНЯ НЕТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Иголка	112
Поисковик	114
Секта	115
Чеченка	117
Псих	119
Мародёр	121
Носорог	123

ПОЭЗИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

Русская серия

1. Линок Горалик. Так это был гудочек
2. Игорь Померанцев. Смерть в лучшем смысле этого слова
3. Григорий Кружков. Холодно-горячо
4. Гали-Дана Зингер. Взмах и взмах

Переводная серия

1. Евгений Осташевский. Жизнь и мнения диджея Спинозы
2. Сергей Жадан. Всё зависит только от нас

Книги проекта

Literature Without Borders / Литература без границ

можно приобрести в следующих магазинах:

РИГА

NicePlace Mansards

Кр. Barona iela 21A (pagalmā)

МОСКВА

Фаланстер

Малый Гнездниковский пер., 12

Порядок слов в Электротеатре

ул. Тверская, 23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Порядок слов

наб. реки Фонтанки, 15

<http://literaturewithoutborders.lv/>